

ISSN 1824-7601



Studi Slavistici

XXII • 2025 • I | Rivista dell'Associazione Italiana degli Slavisti

Studi Slavistici

Rivista dell'Associazione Italiana degli Slavisti



XXII · 2025 · 1

Firenze University Press

Studi Slavistici

XXII • 2025 • I

<http://www.fupress.com/ss>

DIREZIONE

Maurizia Calusio

Paola Cotta Ramusino

SECTION EDITORS

Maria Grazia Bartolini, Anna Bonola, Guido Carpi, Alessandro Cifariello,

Monica Fin, Iliyana Krapova, Giuseppina Larocca,

Marcello Piacentini, Manfred Schrubba

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Noemi Albanese

Rossella Caria

EDITING E PROGETTO GRAFICO

Alberto Alberti

COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

Dmitrij Bulanin (*Puškinskij dom RAN*), Stephen M. Dickey (*Kansas University*),

Maria Di Salvo (*Accademia Ambrosiana*), Dalibor Dobiaš, (*Czech Academy of Sciences*),

Marcello Garzaniti (*Università di Firenze*), Lucyna Gebert (*Sapienza Università di Roma*),

Amir Kapetanović (*Institut za brvatski jezik*), Nicoletta Marcialis (*Università di Roma Tor Vergata*),

Riccardo Nicolosi (*LMU München*), Jakub Niedźwiedz (*Uniwersytet Jagielloński*),

Anna-Maria Totomanova (*Sofijski Universitet*), Michail Veližev (*Université Grenoble Alpes*),

Alexander Woell (*Universität Potsdam*), Anton Zimmerling (*Institut russkogo jazyka im. A.S. Puškina*)

Il volume è curato dalla redazione sulla base delle specifiche competenze dei suoi componenti.

“Studi Slavistici” è una rivista *peer reviewed*. Tutti i contributi (eccettuati *Materiali e Discussioni* e *Recensioni*) vengono inviati per valutazione a due referee anonimi

La redazione ringrazia Stefano Fumagalli, Erica Pinelli
e Anna Stetsenko per la correzione delle bozze del fascicolo

CONTATTI

NOEMI ALBANESE

c/o Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,

Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società

via Columbia, 1 – 00133 Roma

(studislavistici@associazioneslavisti.com)

ASSOCIAZIONE ITALIANA

DEGLI SLAVISTI

<http://www.associazioneslavisti.it>

(segreteria@associazioneslavisti.com)

FIRENZE UNIVERSITY PRESS

via Cittadella, 7 – 50144 Firenze

<http://www.fupress.com/>

(journals@fupress.com)

Rivista di proprietà dell'Associazione Italiana degli Slavisti

(registrato al n° 5385 – 29.XII.2004 del tribunale di Firenze)

ISSN 1824-7601 (online)

© 2025 Firenze University Press – Università degli Studi di Firenze

In copertina: motivo ormanentale di ricamo,

da E. Gasparini, *Il matriarcato slavo*, Firenze 2010 (1973¹), p. 696.

INDICE

A. Федотов, П. Успенский	<i>Изнанка народной войны по версии Николая Некрасова: стихотворение Так, служба! сам ты в той войне... в дискурсах о 1812 году</i>	5-28
A. Вдовин	<i>Реализм аффектов: Телесность, физиологизм и душевное расстройство в Степном короле Лире И.С. Тургенева</i>	29-43
И. Веницкий	<i>Ослиная песня. Канцонетка Альдо Палаццески Дайте мне порезвиться (1910) в истории и мифологии российского (анти-)футуризма</i>	45-64
M. Dimitrova	<i>Nonstandard wh-Questions. Focusing on Bulgarian wh-li Questions</i>	65-85
F. Biagini, L. Gebert	<i>Gli equivalenti russi delle perifrasi verbali a valore aspettuale in italiano</i>	87-104
V. Trubnikova	<i>Leave-Taking Formulas in Contemporary Russian Language</i>	105-124

MATERIALI E DISCUSSIONI

R. Casari, E. Garetto	<i>Il contributo di Nina Kaucisvili allo studio della cultura e della spiritualità russa</i>	127-136
-----------------------	--	---------

RECENSIONI

G. Giuliano, P. De Simone, <i>Paisiello e la Russia, Lettere al Conte Voroncov</i> , Valore Italiano Editore, Roma 2024 (A. Giust)	139-142
D. Colombo, <i>The Soviet Spy Thriller. Writers, Power, and the Masses, 1938-2002</i> , Peter Lang, New York 2022 (G. Scalzini)	143-146

- D. Novochatskij, *Spasti prošloe: chronokorrekcija v ruskoj literature*, Criterion Editrice, Milano 2023 (A. Cifariello, S. Gallo) 147-150
- R. Nicolosi, *Putins Kriegsrhetorik*, Konstanz University Press, Konstanz 2025 (G. Carpi) 151-153
- I.B. Levontina, *Časticy reči*, Azbukovnik, Moskva 2022 (P. Cotta Ramusino) 154-156
- I. Mel'čuk, *General Phraseology. Theory and Practice*, John Benjamins, Amsterdam 2023 (G. Colombo) 157-159

Андрей Федотов
Павел Успенский

Изнанка народной войны по версии Николая Некрасова: стихотворение *Так, служба! сам ты в той войне...* в дискурсах о 1812 годе*

Представления о войне 1812 г. в русской культуре окончательно оформились после 1860-х гг., когда Л. Толстой опубликовал *Войну и мир*. Именно по этому каноническому роману русское национальное воображение до сих пор рисует фактурный образ этой мифологизированной войны и представляет ее основных героев. Неотъемлемым признаком кампании стал ее народный характер, – 1812 год воспринимается как период, когда у нации – от Платона Каратаева до Пьера Безухова – обнаружились общие интересы и общие враги. Наполеона, и это в России знает всякий школьник, побили “дубиной народной войны”, что бы это ни значило.

Тем не менее на излете формалистского периода В. Шкловский упрекнул Толстого в том, что писатель – при всем своем новаторстве в области поэтики – предложил сугубо дворянскую версию эпохи 1812 г. и проигнорировал огромный потенциал народного, крестьянского материала. В самом деле, народ в разных его проявлениях – от стихийного сопротивления оккупационной армии до коллаборационизма, подогретого ожиданием “воли”, – практически полностью проигнорирован в эпосе, и Платон Каратаев эти лакуны не закрывает (Шкловский 1928: 69, 72, 128-130). Образ же народной войны был не изобретен Толстым, а полностью заимствован из сложившегося еще в первой половине XIX века нарратива. Его специфика – как и вообще всех больших нарративов о национальных военных победах – заключается в том, что противоречившие ему или даже уточнявшие его тексты, независимо от их имманентной силы, не имели шансов ни скорректировать его, ни тем более пошатнуть. Об одном из таких текстов и пойдет речь.

Стихотворение Н. Некрасова *Так, служба! сам ты в той войне...* (далее – *Так, служба!*) было опубликовано в 1856 в книге “Стихотворения” (автограф утрачен, сохранилась только авторизованная копия в так называемой “Солдатенковской тетради”, которая однако не содержит разночтений с печатным текстом). *Так, служба!*, в отличие от большинства других стихов поэта, предлагает читателю не посочувствовать человеку из народа, а ужаснуться его варварству и жестокости:

* Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2023 году.

– Так, служба! сам ты в той войне
Дрался – тебе и книги в руки,
Да дай сказать словцо и мне:
Мы сами дельвали штуки.

Как затесался к нам француз
Да увидал, что проку мало,
Пришел он, помнишь ты, в конфуз
И на попятный тотчас драло.
Поймали мы одну семью,
Отца да мать с тремя щенками.
Тотчас ухлопали мусью,
Не из фузеи – кулаками!
Жена давай вопить, стонать,
Рвет волоса, – глядим да тужим!
Жаль стало: топорищем хватъ –
И протянулась рядом с мужем!
Глядь: дети! Нет на них лица:
Ломают руки, воют, скачут,
Лепечут – не поймешь словца –
И в голос, бедненькие, плачут.
Слеза прошибла нас, ей-ей!
Как быть? Мы долго толковали,
Пришибли бедных поскорей
Да вместе всех и закопали...

Так вот что, служба! верь же мне:
Мы не сидели сложа руки,
И хоть не бились на войне,
А сами дельвали штуки!

(Некрасов 1981: 57)

Эти стихи – ролевые: весь текст представляет собой хвастливый рассказ крестьянина, говорящего от имени односельчан и отвечающего на оставшуюся за кадром реплику солдата, ветерана кампании 1812 г. Признавая заслуги и первенство “службы” (так в XIX в. называли простых солдат¹), крестьянин торопится поделиться историей своего вклада в победу, поскольку мужики “тоже дельвали штуки”. Иллюстрируя этот хвастливый тезис, он приводит кошмарную историю расправы над семьей плененного француза. Сначала крестьяне “ухлопали” главу семейства; вслед за тем жертвой становится жена – ее так “жаль стало”, что решили “хватить” ее топорищем. Слеза

¹ Ср. в *Рославле* Загоскина: “Эй, служба! – продолжал он, подзывая к себе солдата, который заряжал ружье, – где капитан Зарядьев?” (Загоскин 1902: 158).

“прошибает” мужиков и от вида плачущих “щенков”, детей француза, которых они тоже “пришибают поскорей” и закапывают вместе с родителями.

Таким образом, “штука” сводится к жестокому убийству безоружных и не сопротивляющихся людей, к расправе, о необходимости которой крестьянин ни разу не задумывается. Претензии, которые предъявляются убитым, ограничиваются лишь тем, что они говорят на непонятном языке (“лепечут – не поймешь словца”) и слишком эмоционально реагируют на гибель родных. Эти несуразные мотивировки и создают необходимую дистанцию между рассказчиком и читателем, который не может принять столь неоправданное и жестокое преступление.

Если соотносить текст с поэтической традицией, то, вероятно, в числе претекстов *Так, служба!* окажется лермонтовское *Бородино*². С учетом важности наследия Лермонтова для Некрасова³, близость темы и нарративной организации – ситуация диалога, разговорная речь, ролевая раскладка – двух текстов может быть неслучайной. В обоих стихотворениях военный аматер признает заслуги непосредственного участника сражений против наполеоновской армии. Однако стихи Некрасова не развивают идеи и мотивы Лермонтова, а наоборот, от них отталкиваются. Так, ветеран и его собеседник в *Так, служба!* противопоставлены не поколенчески, а социально: оба героя – участники кампании 1812 г., но свидетельствуют о ней из разных социальных перспектив. Фокус перенесен с ветерана на аматера, который, в отличие от лермонтовского героя (“богатыри не мы!”), отказывается признать второстепенность собственной роли и получает у Некрасова право голоса.

На фоне *Бородина* более выпукло проступает характер изображенного Некрасовым “подвига”. Лермонтовский “дядя” противостоял опасному и храброму врагу в кровавом, но честном ратоборстве, тогда как поступок некрасовского крестьянина иначе как подлым преступлением назвать нельзя, хотя сам герой этого и не понимает. Французская семья в рассказе мужика не представляет непосредственной опасности. Монолог не эксплицирует и угрозы ценностям крестьянина: не сказано, что “француз” оккупировал Россию, сжег Москву, надругался над церковью и т. п., – он лишь “затесался”. В диалоге со знаковым текстом Лермонтова *Так, служба!* создает альтернативную картину войны 1812 г.

² В свое время К.И. Чуковский предположил, что стихи Некрасова интонационно восходят к пушкинскому *Гусару* (Некрасов 1934: 632). Хотя сходство в самом деле обнаруживается на уровне нарративной модели (беседа с военным) и в обрамляющей просторечный рассказ реплике “Ты, хлопец, может быть, не трус, / Да глуп, а мы видали виды” (ср. “Мы сами дельвали штуки”), сами рассказанные истории не имеют друг с другом ничего общего. Многое отличает *Так, служба!* и от стихотворения Пушкина *Рефутация г-на Беранжера*: несмотря на разговорную интонацию и бахвальство говорящего, субъект речи у Пушкина не простолюдин, а текст предлагает не частную историю, а генерализованный взгляд на события 1812 года. Сопоставление с *Бородиным* представляется нам более значимым и перспективным.

³ См. основательные рассуждения о лермонтовском пласте у Некрасова в: Гиппиус 1966: 247–262.

Однако такое прочтение *Так, служба!* не снимает всех вопросов к тексту. Стихи Некрасова, вынуждая читателя увидеть за конкретным эпизодом распространенную практику, проблематизируют статус народной войны и создают впечатление, что вопрос о ценностях русского крестьянина так же сложен, как и вопрос о его гуманности и доброте. *Бородино* никак не проясняет такой провокационный взгляд, и чтобы с ним разобраться, надо обратиться как к истории стихотворения, так и к дискурсу о войне 1812 г.

Сам автор считал *Так, служба!* не вполне удачным текстом. Готовя полное собрание своих стихотворений (в итоге ставшее посмертным), больной Некрасов датировал стихи 1846 г. и оставил следующую приписку: “Отнести в приложение. Не люблю этой пьесы, хотя буквально она верна – слышал рассказ очевидца Тучкова (впоследствии московского генерал-губернатора)” (Некрасов 1981: 591). Поздние автокомментарии Некрасова не всегда надежны. Несмотря на явно выраженную низкую оценку *Так, служба!*, Некрасов регулярно включал текст во все прижизненные издания своей поэзии, – видимо, недовольство, если и было, то сформировалось поздно и не объясняет десятилетней паузы между декларируемым временем создания стихов и временем их публикации.

Сомнительна и некрасовская ссылка на Тучкова. Едва ли П.А. Тучков (1803–1864) мог быть ‘очевидцем’ описанной в стихах расправы, поскольку в 1812 г. ему было 9 лет. Если П.А. Тучков и мог что-то рассказывать Некрасову, то вовсе не как свидетель, а лишь с чужих слов⁴. Вероятнее всего, Тучков черпал сведения о войне 1812 г. в рассказах своих знаменитых родственников – героев военной кампании против Наполеона⁵. На самом деле, ссылка на Тучкова не просто ненадежна, но и пара-

⁴ М. Макеев, первым усомнившийся в датировке стихотворения и автокомментарии Некрасова, предложил компромиссное решение – считать, что П.А. Тучков действительно рассказал историю, инспирировавшую текст *Так, служба!*, но позже, в 1850 г., когда поэт и чиновник близко общались. Такая трактовка, однако, не снимает противоречия в самом автокомментарии: по-прежнему неясно, как Тучков мог быть ‘очевидцем’ событий. Макеев, на наш взгляд, предлагает вольное допущение, согласно которому эту лексему “нужно понимать в более широком смысле: ‘человек, которому можно доверять’, ‘современник рассказанных событий’”. Однако такого значения у слова ‘очевидец’ никогда не было (Макеев 2012; ср.: СЦРЯ, III: 149; ТСЖВЯ, II: 804).

⁵ В собственных своих записках Тучков рассказывает об отце и его братьях, однако не приводит никаких военных эпизодов (Тучков 1881: 2). Не все знаменитые родственники претендуют на роль возможных свидетелей. П.А. Тучков (1776–1858) попал в плен в начале французского вторжения, еще до Бородина. Н.А. Тучков (1765–1812) и А.А. Тучков (1778–1812) получили смертельные ранения на Бородинском поле, а потому не застали той части кампании, для которой были особенно характерны крестьянские расправы над неприятелем. Очевидцами сцены, подобной той, что изображена у Некрасова, могли быть С.А. Тучков (1767–1839), еще один дядя, или А.А. Тучков (1766–1853), отец будущего генерал-губернатора: первый прошел часть кампании в действующей армии, второй – участвовал в формировании

доксально избыточна: хотя сцена крестьянской расправы необычно нюансирована у Некрасова, она в целом не выбивается из бытовавших нарративов о жестокостях народа в войне 1812 г. Устные рассказы безвозвратно утрачены, однако и заведомо неполные письменные свидетельства позволяют восстановить обобщенный образ воюющего народа в том виде, в каком он был дан Некрасову и его поколению.

Восстановим сперва в общих чертах особенности столкновений гражданского населения с французскими войсками в войну 1812 г., а затем реконструируем тот дискурс, из которого поэт мог знать об этих особенностях.

С исторической точки зрения рассказанная некрасовским крестьянином история не слишком неожиданна. Кампания 1812 г. была не только войной по правилам военного искусства, но также отличалась системными столкновениями между интервентами и мирным населением. Жестокие и часто неспровоцированные расправы как французов над крестьянами, так и мужиков над захватчиками были регулярными, о чем вспоминают многочисленные мемуаристы обеих воюющих сторон⁶. Француз-

ополчения и снабжении войск. Судить об их опыте сегодня трудно, потому что записки С.А. Тучкова доведены только до 1808 г., а А.А. Тучков вовсе не оставил мемуаров.

⁶ Вот лишь несколько свидетельств. Французские голоса: «К столь многочисленным бедствиям <...> следует присоединить еще сонм казаков и вооруженных крестьян, которые окружают нас. <...> Тех, кто удаляется с дороги с целью грабежа, убивают крестьяне. Есть и такие, которые покидают нарочно для того, чтобы быть убитыми или захваченными в плен казаками»; «Мы увидели повешенными на березе две отрубленные головы, очевидно, французские. Мы не могли понять, по какому случаю совершено это варварство и почему эти головы не убраны, так как они производили дурное впечатление на солдат. Умирать на поле сражения неудивительно, но подвергаться такого рода беспричинной жестокости – значит иметь дело с варварами» (Васютинский *и др.* 2012, I-II: 526, 557. См. также Васютинский *и др.* 2012, III: 81-82).

Русские голоса: «Наконец народное ожесточение к незванным гостям достигло высочайшей степени. Французов и всех с ними пришельцев крестьяне не почитали людьми, и кто попадался в их руки, хотя и безоружный, били насмерть без всякого милосердия <...> В Гжатском уезде, поблизости наполеоновского тракта в Москву, один харчевник указывал мне на небольшой лесок, <...> где, по его словам, схоронена не одна сотня таких жертв. Вот собственные слова крестьянина: ‘Устали руки бить их, проклятых! Да убить-то, барин, еще не трудно; а хоронить тяжело: велят от заразы жечь или глубже закапывать. Вот мы и придумали средство. Нахватаем их человек десяток и поведем в этот лесок. Там раздадим им лопатки да и скажем: ну, мусье! ройте себе могилки! Чуть кто выроет, то и свистнешь его дубинкой в голову, а другому и приказываешь: ну, мусье! зарывай скорей да себе рой! Что ж бы вы думали? Иной лепечет, черт его знает, что; а плачет как человек и смотрит в небо и даже крестится... Да наших не обманешь! Алён марш! – и хлоп его по голове’»; «Они не ушли за своими и грабили наше последнее добро. Но вспомнил себя народ, остервенился и ринулся на неприятелей. Их бросали в огонь или в Днепр с высоты берегов. Они, несчастные, кричат, и наши кричат, а пожар все разгорается. Просто ад кромешный кипел на улицах»; «Они и к нам пожаловали. Как въехали они на господский двор, один из наших мужичков, уж больно на них он был зол, схватил оглоблю и бросился за ними. ‘Кого могу, – говорит, – того и положу’. <...> А французы

ская армия была вынуждена фуражироваться в русских деревнях и зачастую сталкивалась с сопротивлением населения. В Москве мародерство, видимо, быстро стало неконтролируемым и обернулось проблемой в том числе и для французского командования. Особой жестокостью по отношению к иностранцам был отмечен период зимнего отступления Наполеона, когда его обескровленная и лишенная боеспособности армия подвергалась атакам не только организованных партизанских отрядов, но и вооруженных крестьян.

Действительно диковинной некрасовскую историю делает семья француза, которая на первый взгляд кажется неуместной в военном контексте. Однако с исторической точки зрения в ней нет ничего удивительного. Во-первых, Наполеон вел за собой корпус чиновников, которые часто были с семьями. Во-вторых, вместе с армией из Москвы отступали многочисленные французские эмигранты, небезосновательно опасавшиеся за свою судьбу после освобождения города⁷. Свидетельства о расправах над семьями в историографии чрезвычайно редки. Вместе с тем, сочетание задокументированной крестьянской жестокости и факта присутствия женщин и детей во французском корпусе делает такую ситуацию вполне правдоподобной. Иногда, впрочем, в мемуаристике встречаются описания ситуаций, очень близких, хотя и не тождественных той, что была описана Некрасовым. Так, например, одна француженка вспоминала о знакомом польском артисте: «Во время одного нападения он был схвачен и убит на глазах своей семьи. Несчастной супруге удалось убе-

все больше стали приставать да грабить, как есть последний кусок изо рта отнимали, и восстали на них крестьяне. Сколько их здесь, сердечных, головы сложило! В одном Петрово убили сорок два человека» (Мартынов 2012: 97-98; 56; 105).

⁷ «Огромное количество женщин, сопровождавших нашу армию, с невероятной жадностью запаслись всем, чем только было возможно, чтобы во время нашего возвращения продавать нам же все это втридорога... Они рыскали по городу, нагруженные вином, ликерами, кофе и дорогими мехами»; «В этом же самом обозе находились многие бежавшие от революции французы со своими семьями, которые под покровительством императора снова возвращались на родину – ничего больше им не оставалось делать. <...> Может быть, для них было бы лучше выехать раньше, но как они могли на это решиться, не будучи уверены в том, что их не схватят бродившие вокруг казаки или крестьяне и не лишат жизни?» (Васютинский и др. 2012, I-II: 339-340; 458). См. также о «женатых солдатах» (*Там же*: 464). «Большинство наших знакомых, отправившихся вместе с французами из Москвы, погибло от голода, холода или меча русских. Преимущественно женщины, несчастные матери, находили смерть среди самых ужасных страданий. И моя жена, мой сын были там!.. Мадам Вертейль, хорошенькая актриса, отважилась отправиться в путь с двумя детьми, беременная третьим. Одного из них она лишилась в суматохе около Вязьмы, другой умер на дороге от истощения»; «Большая армия несет на себе ответственность своих же военных и политических ошибок <...>, но женщины, – те шли за нами из любви и привязанности, а некоторые просто из страха мести со стороны русских, – женщины достойны были лучшей участи и большей мягкости. Мне пришлось встретить женщин и милых, и интересных, варварски жестоко покинутых офицерами, занимавшими видные посты...» (Васютинский и др. 2012, III: 53; 55-56. См. также: Аскиноф 2012).

жать, но она сошла с ума от этой ужасной сцены, а их ребенок умер от голода и холода” (Васютинский и др. 2012, III: 364).

Впрочем, конкретно эти случаи не могли быть известны Некрасову из тех источников, на которые мы сослались, – все они были опубликованы либо на французском, которым поэт не вполне владел, либо уже после создания стихотворения. Вообще, описания исключительно жестокого насилия стали проникать в поздние воспоминания, которые печатались с 1860-х гг. на волне коллективного ощущения, что последние современники героической эпохи уходят и потому важно зафиксировать любые свидетельства, в том числе, и ‘обывателей’⁸.

Однако дискурс, позволявший представить и смоделировать описанную в *Так, служба!* ситуацию, к концу 1840-х гг. уже определенно существовал. Более того, этот дискурс был настолько развит, что последняя необходимость в Тучкове как “очевидце” отпадает. Далее, оставляя в стороне вопросы фактологии войны 1812 г., мы будем оперировать только теми источниками, которые формировали этот дискурс и были доступны Некрасову. Иными словами, от реконструкции исторической основы стихотворения мы перейдем к анализу дискурсивного поля, в силовом напряжении которого эти стихи стали возможными.

В России нарратив о войне 1812 г. начал складываться по свежим следам и стабилизировался к концу 1830-х гг. (см. подробнее: Тартаковский 1980). Символической точкой в формировании официального мифа стали события 1839 г., когда в присутствии императора Николая I и митрополита Филарета на Бородинском поле был торжественно открыт монумент героям сражения.

По мере кристаллизации этого дискурса в мемуарах участников, художественных произведениях и официальной историографии возникают повторяющиеся паттерны осмысления борьбы с Наполеоном. В отличие от доблести русских офицеров и патриотических порывов солдат, крестьянская жестокость среди этих паттернов не занимает центрального положения, хотя и не вовсе вытеснена, как, например, мародерство русских среди своих сограждан или проституция. В раннем дискурсе крестьянское насилие если и описывалось, то всегда каким-либо образом оправдывалось – либо нечеловеческой сущностью врага, либо необходимостью военного времени и “народной войной”, либо патриотическими чувствами русской нации, которая как раз незадолго до событий 1812 г. и была изобретена, а в 1812 г. была испытана на прочность⁹. Рассмотрим подробнее эти оправдания.

⁸ Характерно, однако, что в поздних рассказах крестьян и мещан такое чрезмерное насилие часто осуждается, и на первый план выходит наоборот сочувствие бедствующим французам (см. Мартынов 2012: 50, 60, 107, 245. Об истории мемуаров о 1812 г. см. Тартаковский 1980).

⁹ Мы понимаем здесь нацию в традициях конструктивизма (см., например, Андресон 2016; Hobsbawm, Ranger 2012). Нация – в известном смысле искусственный, интеллектуальный конструкт, воображаемое сообщество, существование и деятельность которого однако

В первую очередь надо обратиться к архетипическому, сложившемуся еще до начала военной кампании, фольклорному представлению о враге, характерному для самих крестьян. Эти представления легли в основу новых и синхронных войн фольклорных нарративов, созданных крестьянами для крестьян. В исторических и солдатских песнях враг, какой бы национальности он ни был, всегда предстает 'басурманином', то есть существом не 'наших' ценностей и не 'нашей' религии. Он оскорбляет родную землю уже самим фактом своего присутствия. К тому же он 'нем', не владеет русской, то есть нормальной речью. Поэтому в народной словесности он изображался не вполне человеком, нечистым существом, на которое не распространяются требования доброты и гуманности. Отсюда – один шаг до полного расчеловечивания и уподобления интервента 'чудищу', 'собаке' и проч., который в самом деле был совершен в русском фольклоре. В народном сознании, таким образом, врага необходимо убить даже не потому, что он опасен, но потому что он – омерзительный 'чужак' (Чудинов 2012).

Уже после начала французского вторжения фольклорные представления оказались чрезвычайно востребованы в текстах (в том числе, визуальных), адресованных, в частности, крестьянам, но созданных дворянами или представителями власти. Речь здесь в первую очередь идет о военном лубке и карикатурах, обильно тиражировавшихся, например, журналом "Сын Отечества" (Вишленкова 2011: 155-209; см. также: Мускатблит 1912). На этих картинках враг зачастую изображался именно в виде нечто жуткого и смехотворного создания, истребляемого смелым и сильным русским воином и/или мужиком. К образу 'басурманина' прибегает и Федор Ростопчин в своих знаменитых афишах (Росточин 1992: 209-221)¹⁰. Лубок и афиши-воззвания усложняли народное представление о враге дополнительными аргументами. Самый главный из них заключался в том, что француз – враг не только русского народа, но и православной (в сущности же – вообще христианской) церкви. Такой нажим на религиозное чувство русского мужика, вероятно, неплохо работал, учитывая частотность одной темы: французская армия использовала церкви для постоя солдат и лошадей, а также без должного уважения относилась к святыням. Вне зависимости от того, насколько эти сведения соотносились с реальностью, святотатство французов стало устойчи-

приводит к вполне реальным последствиям. Иными словами противоречия между нацией – как центром приложения усилий интеллектуальной элиты и нацией как 'реальным' субъектом истории для нас не существенны. Конкретный исторический сюжет об изобретении русской нации рассмотрен, например, в исследованиях: (Зорин 2001: гл. V-VII; Живов 2008). Визуальные аспекты оформления 'русскости' в XIX в. обсуждаются в: Вишленкова 2011.

¹⁰ Об афишах Ростопчина см. Кондратенко 2012. При этом, как показал В. Парсамов, Ростопчин видел свою задачу не столько в организации народной войны, сколько в том, чтобы не допустить крестьянского мятежа (Парсамов 2012). На этом основании, с точки зрения исследователя, сложился и конфликт между московским градоначальником и М. Кутузовым, реально понявшим потенциал народного сопротивления и наполнившим риторическую пуштышку 'народной войны' фактическим содержанием.

вым топосом 1812 г. и было закреплено в образе Наполеона-Антихриста (см. множество примеров в: Гаспаров 1999: 82-117; Сазова 2012).

В свою очередь, мобилизационные тексты-воззвания 1812 г. уже содержали наброски той идеи, которая легла впоследствии в основу мифа об изгнании Наполеона. Согласно этой идее, угроза утратить то, что одинаково ценно для любого русского (Москву и вообще родину), впервые в истории России привела к отмене сословных границ, транссословной солидарности и в конечном счете – к торжеству русской нации¹¹. Рано возникающий образ народной войны в сущности и утверждал народ как коллективное тело, как социум, в котором у всех одни аффекты, но разные функции¹². Такая конструкция позволяла канонизировать одновременно и ратника Карнюшку Чихирина из ростопчинской афишки, и генерала Багратиона, и партизана Давыдова, и кавалерист-девицу Дурову (а впоследствии еще и Наташу Ростову).

Наконец, в послевоенной – разумеется, дворянской – литературе разных жанров и разной прагматики именно патриотическое единение нации выходит на первый план. В глазах сочинителей оно так значимо и масштабно, что оправдывает все возможные гуманитарные издержки. Мемуаристика, историография, а вслед за ними и художественная литература будут говорить о расправах над отступающими французами главным образом как о справедливом возмездии за поруганное патриотическое чувство русского народа. Все материальные, архаично-фольклорные и даже религиозные мотивировки в этом контексте отойдут на второй план. Обратимся к нескольким характерным примерам, которые могли быть известны Некрасову, т.е. были опубликованы до середины 1840-х гг. на русском языке.

¹¹ Из перспективы романтического национализма первой трети XIX в. такое объединяющее нацию событие произошло раньше – в 1612 г., во время польской интервенции и, соответственно, ополчения Минина и Пожарского. Однако собственно моментом рождения нации является момент возникновения политического дискурса, оперирующего этим понятием, какое бы событие ни ‘назначалось’ задним числом датой рождения нации в рамках этого дискурса (см. Зорин 2001: 157-186; Киселева 2004; Велижев, Лавринович 2003).

¹² Как показал В. Парсамов (2012), концепт народной войны не просто был искусственным, но и во многом формировался связанными с Россией французскими интеллектуалами, стремившимися как-то объяснить поражение Наполеона, в первую очередь – Ж. де Сталь, Ж. де Местром и Г.-Ф. Фабером. В их построениях варвары–русские противопоставлялись просвещенным французам, но само варварство в руссоистском ключе наделялось положительными коннотациями. Русские авторы охотно подхватывали идею ‘добродетельного варварства’ как ключевого элемента русской идентичности. Так, этот концепт используется в записях А. Оленина, опубликованных, впрочем, уже после его смерти в 1868 г. См. сходные наблюдения в неопубликованной статье А. Курилкина, рукопись которой доступна на портале Academia.edu *Варвары: из истории культурного самоопределения российского общества* (<https://www.academia.edu/50165509>).

В многочисленных воспоминаниях участников кампании 1812 г. обнаруживаются свидетельства крестьянской самоорганизации и сопротивления интервентам¹³. Например, Ф. Глинка писал о том, как одна крестьянка “убила древесным суком француза, поранившего ее мать” (Глинка 1821: 88). С. Глинка вспоминал о “воинах-земледельцах” Воскресенска, спрятавших в лесах жен, младенцев и стариков и единодушно вставших на защиту России: “Вооруженные поселяне неоднократно прогоняли неприятельские отряды, <...> часто отражали их от самого Воскресенска, неоднократно бывали в сражениях одни и с козаками”; крестьяне смогли убить, ранить или взять в плен две тысячи французов (Глинка 1836: 113-114).

Об “озлобленном, вооруженном и кипящем мщением” народе писал партизан Д. Давыдов (1982: 140)¹⁴. Командир со своим отрядом несколько раз подвергался нападениям крестьян, поскольку партизан принимали за французов: “К каждому селению один из нас принужден был подъезжать и говорить жителям, что мы русские, что мы пришли на помощь к ним и на защиту православной церкви. Часто ответом нам был выстрел или пущенный с размаха топор”. Давыдов приводит и другой пример “остервенения поселян на врагов отечества и, вместе с сим, бескорыстия их”: крестьяне села Егорьевского истребили команду Тептярского казачьего полка, приняв казаков за интервентов (Давыдов 1982: 163-164). В некоторых эпизодах Давыдов подчеркивает присущий крестьянам рациональный гуманизм, но одновременно походя и как будто случайно обращает внимание на присущую им жестокость:

Спустя несколько часов после казни преступника крестьяне окружающих сел привели ко мне шесть французских бродяг. Это меня удивило, ибо до того времени они не приводили ко мне ни одного пленного, разделявая с ними по-свойски и сами собою. Несчастные сии <...> не избегли бы такого же рода смерти, <...> если бы топот лошадей и многоядный разговор на русском языке не известили крестьян о приходе моей партии. Убийство было уже бесполезным; они решились представить узников своих на мою волю <курсив наш – А.Ф., П.У>” (Давыдов 1982: 192).

Отношение самого Давыдова к пленным непоследовательно. Так, Давыдов спасает юного французского барабанщика, осуждает А. Фигнера за убийство пленных

¹³ Далее мы обратимся к русским свидетельствам, но отметим, что о насилии крестьян писали и французы, причем некоторые сочинения были переведены на русский язык в 1830–1840-е гг (см. Пюибюск 1833: 49; Сегюр 2014: 322).

Библиография воспоминаний о войне 1812 г. содержит сотни позиций, однако важно понимать, что большая часть текстов была опубликована во второй половине XIX – начале XX вв. (см. Зайончковский 1977). Те же мемуары, что были опубликованы в первой половине XIX века регулярно отмечают роль народа в войне с Наполеоном, но далеко не всегда фиксируют сцены крестьянских расправ над неприятелем.

¹⁴ Воспоминания Давыдова впервые появились в печати в 1820 г. (список изданий см. Тартаковский 1980: 268, № 41).

и произносит патетическую речь против такого негуманного отношения к противнику. Вместе с тем он учит крестьян, как погубить французов обманом: “Уложите спать пьяными и, когда приметите, что они точно заснули, <...> совершите то, что бог повелел совершать с врагами христовой церкви и вашей родины” (Давыдов 1982: 193, 203, 165).

Весьма натуралистические свидетельства приводит И. Радожицкий¹⁵. Вот, например, впечатляющая история расправы крестьян над французами:

Заметив несколько французских бродяг, зашедших в пустые избы, они <крестьяне – А.Ф., П.У.> тотчас собирались вокруг домов, заваливали двери, и, обложив соломой, угрожали сжечь, если не спардонятся. “Таким способом – говорил другой воин-мужичок – к нашему выборному залезли в избу трое французишков; вот мы, слышь ты, их окружили, и пукотом зажженной соломой грозили запалить; тогда они закричали: Пардон! помилуйте! – Выборный, взявши топор под руку, стал сбоку у двери и крикнул: Ну, пардон! вылезай вон! – Вот один высунул из дверей голову; выборный хват его топором – и тот свалился. Немного погодя, полез другой и высунул руки; выборный и этого сшиб. Третий долго не хотел выходить, хотя его стращали огнем. Ну, не бойсь, тебя помилуем, сказали ему. – Что делать! полез сердечный, только не головой, а высунул сперва ноги; выборный хватил его по ногам, а мы придушили. – Из наших, продолжал мужик, у иных была такая охотишка бить этого поганого зверя, что для охоты покупали их у казаков (Радожицкий 1835: 240).

В другом фрагменте записок Радожицкий (1835: 241–243) подробно описывает, как крестьяне хитростью расправились с двумя “французскими латниками”, причем их убийство сопоставлено с охотой на медведя. Мемуарист также приводит свидетельство женского вклада в народное сопротивление: “Однажды встретили мы двух русских баб, которые гнали дубинами, одна впереди, а другая позади, десятка три оборванных, полумерзлых французов” (Радожицкий 1835: 281).

Проявления народной жестокости трактуются Радожицким двояко. С одной стороны, он полагает, что “тысячи примеров явили тогда в народе русском истинных сынов и героев отечества”. Вместе с тем, с его точки зрения, “нельзя было не содрогаться ожесточению русского народа против своих разорителей: возбужденный фанатизм выходил за пределы человечества. Так в народной войне исчезают всякие правила, и неприятели следуют единственно побуждению ожесточенного сердца – истреблять друг друга утонченным варварством” (Радожицкий 1835: 201, 243).

Противоречивый характер народной войны осмыслился и в художественной литературе. До появления *Войны и мира* самым популярным романом о войне с Наполеоном был бестселлер М. Загоскина *Рославлев, или Русские в 1812 году*, впервые опубликованный в 1831 г.

¹⁵ Воспоминания Радожицкого впервые были опубликованы в журнале “Отечественные записки” в 1823 г. (см. справку: Тартаковский 1980: 271, №80).

Разумеется, это было не единственное художественное произведение о 1812 г. В определяющие для формирования мифа десятилетие был написан целый ряд романов и повестей об антинаполеоновской кампании (Глухарев 1832; Зотов 1832; Герасимов 1833; Р1812; Чуровский 1837; Бороградский 1839; БП и др.). По нашим наблюдениям, *Рославлев* предопределил все ключевые конструктивные особенности, темы и мотивы литературы в период кристаллизации мифа об Отечественной войне, т.е. в 1830-е гг. Далее поэтому мы сосредоточимся именно на романе Загоскина, а на сходные коллизии из других текстов укажем в примечаниях.

Рославлев, воплощающий ключевые идеи имперского национализма (Ящук 2022: 53-62, 75-82), уделяет пристальное внимание народному сопротивлению. Вооружившиеся крестьяне, по определению одного из военных начальников, – “чудо-богатыри”, тогда как французы в сознании простых героев последовательно расчеловечиваются: они сравниваются то с “саранчой заморской”, то с “мухами”, которых надо истреблять, то с “медведями”, на которых объявлена охота (Загоскин 1902: 312, 172, 192, 298, 225)¹⁶. Мужики, вдохновленные афишами Ростопчина, готовы на любую жестокость, и это однажды подталкивает нарратора также уподобить их животным: крестьяне, которые после одного сражения собираются расправиться с пленными, названы “дикими зверями” (*Там же*: 224, 309).

Изобретательность крестьян в формах насилия особенно рельефно проявляется в эпизоде пленения Рославлева, по ошибке принятого за француза. Сначала крестьяне хотят повесить Рославлева, однако жалуют веревки и решают бросить его “в колодезь к товарищам”. Однако и этот вариант не устраивает мужиков: “Да что вам дался колодезь? – перервал Ерема, – И так все колодцы перепортили. Много ли ему надобно? Эй, Ваня, что ты смотришь басурману-то в зубы? Обухом его!” Сам Ерема, видя бездействие задумавшихся товарищей, и вовсе готов расправиться с Рославлевым с помощью ножа (*Там же*: 299–301)¹⁷. Вместе с тем, несмотря на готовность к убийству, “воины-земледельцы” поданы справедливыми и мудрыми. Все-таки поверив словам пленного, они выясняют истину и обнаруживают в Рославлеве русского дворянина и истинного христианина, после чего предлагают ему возглавить ополчение. Сюжет, таким образом, подталкивает осмыслить мужиков не просто как патриотов, но и как

¹⁶ В одном из романов французы названы “двуногими волками” (Герасимов 1833, II: 146).

¹⁷ Изобретательность крестьян в способах истребления неприятелей в литературе не имеет пределов. Крестьяне нападают на врагов “с дубьем и рогатинами” (Бороградский 1839: 189-190). Староста Влас предлагает барину Добромирскому удавить пойманного ими француз-насилльника, прибить его “хворостинкой по лбу” или отвести его “лучше в болото” (Герасимов 1833, II: 151-152). Другой староста предлагает полковнику выкупить французских пленных, чтобы молодые люди поучились стрелять (Зотов 1832, IV: 121). Словом, ненависть крестьян к врагам “иногда простиралась даже до неистовства” (Чуровский 1837, III: 6), или пользуясь словами Р. Зотова, “изобретаемые ими <крестьянами. – А. Ф., П. У.> мучения были ужасны, и уже никакие мольбы, никакое сожаление не могли спасти несчастных” (Зотов 1832, IV: 79).

людей, которые, несмотря на свою горячность и готовность к кровопролитию, стараются его избежать и судят по совести.

В *Рославле* крестьянская жестокость соотнесена с идеей народной войны и народного возмездия:

С каждым днем возрастала народная ненависть к французам. Буйные поступки солдат, начинавших уже забывать всю подчиненность, сожжение Москвы, а более всего осквернение церквей, сначала ограбленных, а потом превращенных в магазины и конюшни, довело наконец эту ненависть до какого-то иступления. Убить просто француза – казалось для русского крестьянина уже делом слишком обыкновенным; все роды смертей, одна другой ужаснее, ожидали несчастных неприятельских солдат, захваченных вооруженными толпами крестьян (*Там же*: 256–257).

Однако народный гнев и здесь оценивается двойственно. Идеологически как неизбежную форму народной войны ее оправдывает даже Рославлев в беседе со своей невестой:

До чего дойдет ожесточение русских, когда в глазах народа убийство и мщение превратятся в добродетели, и всякое сожаление к французам будет казаться предательством и изменой. <...> Стараться истреблять всеми способами неприятеля, убивать до тех пор, пока не убьют самого, – вот в чем состоит народная война и вот чего добиваются Наполеон и его французы. Переступив однажды за нашу границу, они не должны уже и думать о мире. Да, Полина, в этой войне середины быть не может; они должны или превратить всю Россию в обширное кладбище, или все погибнуть (*Там же*: 118).

Вместе с тем герои романа не принимают расправ над безоружными. Так, один из персонажей ужаснулся когда узнал, что в его партизанском отряде ночью убили пленных: “У Зарецкого сердце замерло от ужаса; он взглянул с отвращением на своих товарищей” (*Там же*: 261).

В романе также подчеркнуто, что разделяющий гнев народа Рославлев заблуждается и что ценности гуманизма остаются важными и во время войны. В уста Сурского, друга главного героя, вложена следующая идейно нагруженная реплика:

Как русский, ты станешь драться до последней капли крови с врагами нашего отечества, как верноподданный – умрешь, защищая своего государя; но если безоружный неприятель будет иметь нужду в твоей помощи, то кто бы он ни был, он, верно, найдет в тебе человека, для которого сострадание никогда не было чуждой добродетелью. Простой народ почти везде одинаков; но французы называют нас всех варварами. Постараемся же доказать им не фразами, <...> а на самом деле, что они ошибаются (*Там же*: 120).

И в самом деле, в романе Рославлев последовательно предстает глубоко чувствующим, благородным и справедливым человеком. В отличие от крестьян-ополченцев,

ему не приходится распоряжаться судьбой схваченных врагов, и, соответственно, его 'праведный' гнев и этические правила не вступают в противоречие¹⁸.

Такая конструкция создает в романе остранный взгляд на крестьянскую жестокость. Избыточное насилие оказывается присущим народу и совсем фанатичным и отталкивающим персонажам, и хотя в целом оно оправдано исторической ситуацией, однако противоречит кодексу истинного дворянина-патриота. Загоскин, таким образом, в духе романтического национализма подчеркивает сходство между разными условиями, объединенными в ситуации войны общей патриотической целью. Вместе с тем писатель сохраняет дистанцию между дворянами и крестьянами, предполагая, что вторые относятся к антропологически иному типу и нуждаются не только в восхищении, но и в руководстве со стороны дворян, которого они сами ищут (ср. с сюжетом, когда Рославлев становится предводителем воинов-поселян). В основе этой идеи, конечно, лежат представления Загоскина о незыблемой и морально обоснованной социальной иерархии, внизу которой находятся крестьяне, а наверху – царь.

Наконец, официальная историография также обращала внимание на крестьянскую жестокость, хотя в большей степени ее интересовали военачальники, маневры и общий ход военного противостояния. Основательное *Описание Отечественной войны 1812 года...* А. Михайловского-Данилевского (первое издание – 1839 г.) мы рассмотрим как наиболее репрезентативный источник, однако будем помнить, что это не единственный исторический труд о наполеоновской кампании¹⁹. У Михайловского-Данилевского приводится много сведений о крестьянских расправах, которые подаются как народное возмездие интервентам и как ответ на их насилие. Официальный историограф в целом оправдывает подобные практики:

Когда французы бывали в превосходном числе, в таком случае против них употреблялись разные хитрости. Ласково, с поклонами встречая бродяг и фуражиров, поселяне предлагали им яства и напитки, и потом, во время сна, или опьянения гостей, отнимали у них оружие, душили их, либо выждав, когда неприятели уснут, припирали двери домов бревнами, окладывали сени хворостом и зажигали их, тешась криком и воплем незваных гостей Московского Царства, горевших вместе с избами. <...> Иногда крестьяне зарывали пленных живыми в землю, или убивали их как хищных зверей. Иноземцы, шедшие против Бога и Руси, перестали в понятии народа казаться людьми; всякое мщение против них почитали не только позволительным, но законным, угодным Небу (Михайловский–Данилевский 1843: 115).

¹⁸ Дворяне, противопоставленные крестьянам и требующие гуманного отношения к поверженным французам встречаются также в (Бороградский 1839; Зотов 1832, IV; Герасимов 1833, II).

¹⁹ Обзор взглядов историографов XIX в. см. Бессонов 2012: 81–83. Официальная трактовка народной войны и, шире, тотального единения нации (не отличающаяся оригинальностью) быстро проникла в учебники; см., например, Кайданов 1829: 458–459.

Говоря о чрезмерном насилии, историк не упускал случая подчеркнуть (не осуждая) исключительный характер происходящего:

В Медынском уезде ожесточение крестьян против неприятеля достигло до высочайшей степени; изобретались самые мучительные казни; пленных ставили в ряды и по очереди рубили им головы; живых сажали в пруды и колодцы, сжигали в избах и овинах. Один волостной староста просил проезжающего офицера научить его, какую смертью карать французов, потому что он уже истощил над ними все известные ему роды смертей (*Там же*: 125).

Вместе с тем Михайловский-Данилевский считал необходимым подчеркнуть, что насилие как таковое для русских крестьян не характерно и не лежит в основе их природы, а является лишь ответом на военную агрессию. В *Описании Отечественной войны...*, таким образом, создавалась своеобразная модель оправдания насилия: бесконтрольную жестокость крестьяне проявляли только по отношению к интервентам, а в целом для них характерна любовь к сложившемуся социальному порядку и государственной власти, верность которой они готовы сохранять даже в ее фактическое отсутствие²⁰. Так Михайловский-Данилевский, купируя возможные положительные коннотации крестьянских бунтов и стихии народного восстания, подавал жестокость как нечто чуждое русскому крестьянину.

Итак, мы видим, что в дискурсе о войне 1812 г. изуверство крестьян не было эпатирующей экзотикой и всегда присутствовало фоновое (а потому поэту, решившему изобразить сцену убийства, не нужны рассказы современников событий). Народные расправы над французами, как мы показали выше, подавались в двойственном ключе. Участники кампании и ее свидетели – люди первой трети XIX века – с восхищением открывали для себя русскую нацию, объединенную порывом изгнать интервентов. Народная война воспринималась как торжество русскости, а загадочный и неведомый крестьянин оказывался таким же патриотом, как и доблестный дворянский офицер. Вместе с тем крестьяне по-прежнему воспринимались как *другие*, и поэтому в нарративах о войне так или иначе формировалась дистанция по отношению к их боевым практикам. Конечно, иногда темная сторона мужика игнорировалась, как в записках С. Глинки, предпочитавшего исключительно героическую модальность. Однако, как мы видим, во многих текстах переход от панегирика народу к иллюстрациям его подвигов вызывал определенные затруднения. Проблема крестьянского насилия либо

²⁰ “Восстание Русского народа представляет зрелище величественное, но оно тем еще достославнее, что нигде в губерниях, прилегавших к театру губительнейшей из войн, <...> не были нарушены законы. <...> Повиновались тому, в ком полагали наиболее пламенной любви к Вере и Монарху, более ненависти к чужеземному игу, грозившему России. <...> При удивительном единодушии, воспламенявшем все сословия, не колебалась безусловная покорность властям. <...> великое ручательство силы Государства – покорность начальству и помещикам, ни в каком случае не прерывалась” (Михайловский-Данилевский 1843: 120-121).

проговаривалась, но не акцентировалась, как у Давыдова, либо требовала объяснений и оправданий, как у Радожицкого, Загоскина и Михайловского-Данилевского.

Поэтика привлеченных прозаических нарративов позволяла разместить изувеченные крестьянские расправы в своеобразной серой зоне. Описывая их как феномен, авторы одновременно встраивали их в разветвленную сеть военных эпизодов и, соответственно, в богатую смысловую полифонию войны 1812 г. Сами возможности прозы – смена точек зрения, изменение регистров, рассказ в рассказе и т. п. – позволяли говорить о насилии народа так, чтобы оно воспринималось как часть общей картины, а не как моральная проблема конкретных ополченцев. Неслучайно во всех приведенных примерах нет погружения в сознание крестьян и, соответственно, их внутренние мотивировки поступить так, а не иначе остаются неизвестными.

В *Так, служба!* Некрасов сдвигает сложившиеся дискурсивные тенденции. То, что в традиционном дискурсе было лишь фоном, поэт ставит в центр произведения, сталкивая читателя с подробным рассказом о жестокой расправе крестьян над французской семьей. И хотя Некрасов, как и его предшественники, не проникает в мужицкое сознание, подслушанный и как бы не адресованный читателю рассказ именно у читателя неизбежно провоцирует этическую реакцию. В отличие от калейдоскопической прозы о 1812 г., *Так, служба!* фокусируется на единственной истории и оставляет читателя наедине именно с ней, отсекая как большой военный нарратив, так и оправдания, уточнения и противоположные примеры народного поведения (все это только подразумевается как фоновое знание о военной кампании).

Некрасов, с нашей точки зрения, предпринимает ревизию восприятия войны 1812 г. и выступает здесь как человек нового поколения, не заставший войну даже в детстве. Поэт – и это типичная черта лирики Некрасова – претендует на более нюансированное, более правдивое и эксклюзивное знание о народе. В отличие от современников наполеоновского вторжения, Некрасов проблематизирует народ, видя в нем носителей нерелективного, темного сознания, жестоких и страшных людей. Рассказанная в *Так, служба!* история должна была шокировать читателя потому, что она подрывала его нормализованные представления о ‘воинах-земледельцах’: расчеловечивающее мышление некрасовского крестьянина для читателя оборачивается против героя, вынуждает именно в нем, а не во французах, увидеть зверя.

Как показывает журнальный отклик Вс. Крестовского, некоторые современники Некрасова остро чувствовали эту цель стихотворения:

Ведь не шутя мороз продирает по коже, становится страшно от этой голой, ужасающей правды. Ведь нельзя отказаться: это наше, это наша жизнь, или, по крайней мере, один из ее заурядно-характерных эпизодов. В основе этой вещи лежит страшное понимание русской жизни <...> Эта странная, но жизненная смесь зверства, удалой похвальбы этим зверством и совершенно человеческого чувства жалости, сострадания, сожаления – вполне свойственны нашему серому человеку (Крестовский 1861: 64).

Некрасовское “страшное понимание русской жизни” в определенном смысле предвосхищает перерождение народа в русской литературе 1860-1870-х гг., и некрасовский крестьянин может восприниматься как предок мужиков из рассказов Н. Успенского, арестантов из *Записок из мертвого дома*, Федьки Каторжного из *Бесов* или Тишки Щербатого из *Войны и мира*. Хотя *Так, служба!* точно было написано раньше этих произведений, время его создания наверняка не известно.

Напомним, что Некрасов незадолго до смерти датировал стихотворение 1846 г. Эта версия может вызывать сомнения. Так, М. Макеев (2012) предложил считать, что текст был создан в 1850 г., когда поэт мог тесно общаться с П. Тучковым. Но наш анализ дискурсов о войне 1812 г. демонстрирует, что для текста о крестьянских зверствах в эпоху антинаполеоновской кампании не было никакой необходимости в эксклюзивных историях современников. В то же время этот факт сам по себе не поддерживает некрасовскую датировку, а лишь возвращает нас к вопросу о времени создания текста. Заметим, что именно во второй половине 1840-х гг. Некрасов сочинил ряд провокационных шедевров, впервые громко заявивших о его претензиях на поэтическое новаторство (см. Успенский, Федотов 2019; 2024). В таком контексте создание еще одного эпатазирующего стихотворения об узловом и недавнем событии национальной истории кажется вполне закономерным.

Однако в отличие от *В дороге*, *Колыбельной песни*, *Тройки* стихотворение *Так, служба!* не было напечатано в этот период. Был или не был поэт уже тогда недоволен текстом, мы не знаем, но если верить его поздней датировке, он отложил публикацию стихотворения на целое десятилетие. Напрашивается предположить, что ‘подходящим’ временем для создания *Так, служба!* мог быть период Крымской кампании.

Как известно, война 1853-1856 гг. резко актуализировала в политической риторике, поэзии и общественном сознании миф о 1812 г. Государственная риторика активно эксплуатировала сравнения новой войны с событиями сорокалетней давности, когда российская армия в последний раз противостояла “двунадесяти языкам” на собственной территории. Исторические аналогии между кампаниями 1853-1856 и 1812 гг. поддерживались фигурой властителя во Франции: Наполеон III приходился племянником Наполеона I, и официальная пресса не упускала возможности отметить это сходство. Как показала О. Майорова, сопоставление военных кампаний было продуманным и регулярным приемом риторики николаевского правительства, призванной стимулировать патриотическую мобилизацию. Она задавалась манифестами Николая I и поддерживалась публицистами официальной газеты “Русский инвалид” (Maiorova 2010: 28-41; см. также Федотова 2022: 73-98).

Всегда стремившийся к злободневности поэт мог реагировать именно на этот публицистический контекст, а стихотворение *Так, служба!* – на идеологическое сопровождение Крымской кампании.

Такое предположение отчасти поддерживается – помимо приведенных выше рассуждений о политическом контексте и о проблеме датировки текста – риторикой самого стихотворения. Местоимение ‘той’ в первой строке “Так, служба! Сам ты в

той войне...” содержит имплицитное противопоставление ‘той’ и ‘этой’, то есть новой, современной, актуальной войны. Таким образом, разговор-воспоминание двух современников 1812 года разворачивается на фоне новой кампании, реактуализировавшей в общественном дискурсе память о народной войне.

Впрочем, эта гипотеза порождает новые вопросы. Как именно Некрасов мог относиться к неожиданному возрождению образности 1812 года во время Крымской войны и в какой смысловой ряд встраивал свое стихотворение? Было ли оно выражением недовольства политической риторикой? Разочарованием ходом кампании? Или неприятием героизации текущей войны за счет памяти о прошлом военном триумфе? Хотя мы склоняемся к последней гипотезе, к сожалению, точного ответа у нас нет²¹. Заметим однако, что предложенная датировка снимает вопрос как об общественном контексте стихотворения – в перспективе памяти о войне против Наполеона 1846 г. ничем не примечателен, – так и о долгой паузе между временем создания и публикации стихотворения.

Проблема датировки заставляет задуматься, почему в 1870-е гг. эти стихи вызывали у Некрасова отторжение. Традиционно считается, что нерелексивная жестокость и варварство в *Так, служба!* резко расходятся с некрасовскими образами народа. Однако среди поздних произведений поэта к рассматриваемому стихотворению находится “пара” – история “богатыря святорусского” Савелия, рассказанная в поэме *Кому на Руси жить хорошо* (глава *Крестьянка*). Савелий и его односельчане совершают не менее ужасающее преступление: они закапывают живьем управляющего, немца Фогеля. Савелий при этом не похож на изуверов из *Так, служба!*, однако различие задается не самим преступлением, а его контекстом. Важно, что Фогель лично угрожал свободе корежских мужичков, а те, в свою очередь, приняли за свое преступление суровое наказание. Крестьяне не только “взяли грех на душу”, но и собственными страданиями его символически искупали.

Такая концепция народа, заметим, сближает Некрасова с идеологами почвеннического движения, предложившими не идеализированное (как у ранних славянофилов), и не критическое (как, например, в прозе шестидесятников), а жертвенно-возвышенное понимание русского крестьянина. Такой крестьянин способен совершить жестокое преступление, но сам осознает его греховность и не просто принимает на-

²¹ Заметим, что у скептически настроенной части интеллектуалов использование образов кампании 1812 г. для риторического оправдания новой войны вызывало раздражение. См. об этом (Маюгова 2010: 37–41). Дневник В.С. Аксаковой фиксирует ее недоумение в связи с апелляциями к памяти о народной войне против Наполеона во время созыва ополчения: “Никто из порядочных людей не хотел идти в московское ополчение. Так ли оно призывалось, с тем ли намерением и при тех ли обстоятельствах было сделано, чтоб возбудить сочувствие? Конечно, нет. <...> Всякий отделивался от ополчения, как кто мог, и надобно было допустить совершенную дрянь; но в других некоторых губерниях приняли как-то простодушно, поверивши одному слову “ополчение”; вспомнили прежнее в 1812 году, и самые лучшие люди поспешили встать в ряды его” (Аксакова 1913: 101–102).

казание, но активно в нем нуждается, видя в нем возможность очищения от греха. Отклонения от социальной нормы в этой концепции не очерняют, а напротив, дополнительно подчеркивают мощь и величие русского народа.

Характерно, что сами почвенники отреагировали на стихотворение *Так, служба!* крайне негативно. Так, А. Григорьев в статье *Поэзия Некрасова* ("Время", 1862, 7) резко возражал Крестовскому, обвиняя Некрасова в искажении исторической правды и апеллируя, как и современники 1812 г., к калейдоскопическому взгляду на наполеоновское вторжение:

Критик <...> выписывает несчастное желчное пятно, под влиянием которого больной, раздраженный поэт взглянул на великую эпоху 1812 года, отметивши в ней по болезненному капризу только исключительный факт. <...> Вы совсем забыли, увлекшись, о чем это стихотворение. Ведь оно о "вечной памяти двенадцатом годе", которого голая правда <...> – не в этом исключительном факте, а в восстании великого народного духа, восстании, которое своею поэзией и мощью сглаживает несчастные и отвратительные эпизоды, неизбежные, к сожалению, во всякой народной войне. Припомните-ка гверильясос Испании... (Григорьев 1990: 284).

А в подготовительных материалах к *Дневнику писателя за 1877 год* Достоевский писал: "В Некрасове ошибки. Убиение французов – позор" (Достоевский 1984: 199).

Похоже, что Некрасов, в поздние годы если не сочувствовавший почвеннической идеологии, то по крайней мере отчасти двигавшийся в ее фарватере, перед смертью смотрел на свои ранние стихи как бы глазами Григорьева или Достоевского и внутренне соглашался с ними. Разочарование в собственном тексте, таким образом, испытывал не монолитный "певец народного горя", а поэт, чьи собственные взгляды и установки за десятилетия после создания стихотворения сильно эволюционировали. Как кажется, ссылка на Тучкова в этом ракурсе получает, наконец, правдоподобное психологическое объяснение: Тучков не мог способствовать созданию текста, но подходил в качестве фигуры, с которой можно было бы разделить ответственность за его 'несчастное' рождение. Умирающий Некрасов предпринял попытку гармонизировать, сгладить собственную эволюцию, выставя себя в качестве поэтического оформителя чужого исторического анекдота.

Впрочем, и без дискредитирующего текст автокомментария у *Так, служба!* не было шансов закрепиться в общественном сознании. Обычно "сильные" стихи Некрасова собирались из нескольких конкурирующих дискурсов, по-разному осмысляющих один и тот же феномен. Так у поэта получалось создать новое, необычное высказывание, которое имело шанс остаться в культурной памяти и в редких случаях переконфигурировать сами способы говорения о предмете. По сравнению с такими стихами, *Так, служба!* проще: текст взаимодействует всего с одним, но очень сильным и мифологизированным дискурсом и откровенно с ним не соглашается, грубо атакует его 'в лоб'. Как показывает история литературы, шансы на победу такого контрдискурсивного произведения – если это не шедевр огромной силы – в схватке с мифом исчезающе малы.

Сокращения

- БП: *Бородинское поле, или Смерть за честь. Исторический роман*, I-III, Москва 1839.
- Р1812: *Россиянка 1812 года, или Любовь молодого офицера на дороге в армию. Роман*, I-II, Москва 1836.
- СЦРЯ: *Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым отделением Императорской академии наук*, III, Санкт-Петербург 1847.
- ТСЖВЯ: В.И. Даль, *Толковый словарь живого великорусского языка*, III, Санкт-Петербург 1880-1882.

Литература

- Аксакова 1913: В.С. Аксакова, *Дневник 1854-1855*, Санкт-Петербург 1913.
- Андерсон 2016: Б. Андерсон, *Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма*, Москва 2016.
- Аскиноф 2012: С. Аскиноф, *Московские французы в 1812 году. От московского пожара до Березины*, Москва 2012.
- Бессонов 2012: В.А. Бессонов, *Партизанская, народная или “малая” война в 1812 году: представления современников и оценка историков*, “Российская история”, 2012, 6, с. 81-92.
- Бороградский 1839: Н. Бороградский, *Путешествие в Смоленск, или Воспоминание 1812 года*, Москва 1839.
- Васютинский и др. 2012: А.М. Васютинский, А.К. Дживелегов, С.П. Мельгунов (сост.), *Французы в России: 1812 год по воспоминаниям современников-иностранцев*, I-III, Москва 2012.
- Велижев, Лавринович 2003: М.Б. Велижев, М.Б. Лавринович, “Сусанинский миф”: становление канона, “Новое литературное обозрение”, 5, 2003, с. 186-204.
- Вишленкова 2011: Е.А. Вишленкова, *Визуальное народоведение империи, или “Увидеть русского дано не каждому”*, Москва 2011.
- Гаспаров 1999: Б. М. Гаспаров, *Поэтический язык Пушкина*, Санкт-Петербург 1999.
- Герасимов 1833: [А. Герасимов], *Добромирский и президент Шукайло, или Французские войска в Белоруссии в 1812 году*, I-II, Москва 1833.

- Гиппиус 1966: В.В. Гиппиус, *Некрасов в истории русской поэзии XIX века*, в: В. Гиппиус, *От Пушкина до Блока*, Москва-Ленинград 1966, с. 225-275.
- Глинка 1821: [Ф. Глинка], *Письма русского офицера о военных происшествиях 1812 года, сочиненные Федором Глинкою*, Москва 1821.
- Глинка 1836: [Ф. Глинка], *Записки о 1812 годе Сергея Глинки, первого ратника Московского Ополчения*, Санкт-Петербург 1836.
- Глухарев 1836: И.Н. Глухарев, *Графиня Рославлева, или Супруга-героиня, отличившаяся в знаменитую войну 1812 года. Историко-описательная повесть XIX столетия*, I-II, Москва 1832.
- Григорьев 1990: А.А. Григорьев, *Сочинения в 2 т.*, II, Москва 1990.
- Давыдов 1982: Д.В. Давыдов, *Военные записки*, Москва 1982.
- Достоевский 1984: Ф.М. Достоевский, *Полное собрание сочинений в 30 т.*, XXVI, Ленинград 1984.
- Живов 2008: В.М. Живов, *Чувствительный национализм: Карамзин, Ростопчин, национальный суверенитет и поиски национальной идентичности*, "Новое литературное обозрение", 2008, 3, с. 114-140.
- Загоскин 1902: М.Н. Загоскин, *Рославлев, или русские в 1812 году. Исторический роман*, Москва 1902.
- Зайончковский 1977: П.А. Зайончковский (науч. рук., ред. и введ.), *История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях*, II/1 (1801-1856). Аннотированный указатель книг и публикаций в журналах, Москва 1977.
- Зорин 2001: А.А. Зорин, *Кормя двуглавого орла... Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII-первой трети XIX века*, Москва 2001.
- Зотов 1832: [Р.М. Зотов], *Леонид, или Некоторые черты из жизни Наполеона*, I-IV, Санкт-Петербург 1832.
- Кайданов 1829: И.К. Кайданов, *Начертание истории государства Российского*, Санкт-Петербург 1829.
- Киселева 2004: Л.Н. Киселева, *К формированию концепта национального героя в первой трети 19 в.*, в.: *Лотмановский сборник*, III, Москва 2004, с. 69-92.
- Кондратенко 2012: А.И. Кондратенко, *"Листки воспламенительной силы" (Литературное участие Ф.В. Ростопчина в информационной войне с Наполеоном)*, в: С.В. Денисенко (отв. ред.), *Реалии и легенды Отечественной войны 1812 года: Сборник научных статей*, Санкт-Петербург-Тверь 2012, с. 71-81.

- Крестовский 1861: В. К[рест]овский, *Стихотворения Н. Некрасова*, “Русское слово”, 1861, 4, с. 53-74.
- Макеев 2012: М.С. Макеев, *О датировке и источнике стихотворения Н.А. Некрасова “Так, служба! сам ты в той войне...”*, в: *Памяти Анны Ивановны Журавлевой. Сборник статей*, Москва 2012, с. 532-537.
- Мартынов 2012: Г.Г. Мартынов (сост., подгот. текста и примеч.), *Отечественная война 1812 года глазами современников*, Москва 2012.
- Михайловский-Данилевский 1843: А.И. Михайловский-Данилевский, *Описание Отечественной войны 1812 года*, III, Санкт-Петербург 1843¹.
- Мускатблит 1912: Ф.Г. Мускатблит (сост.), *1812 год в карикатуре*, Москва 1912.
- Некрасов 1934: Н.А. Некрасов, *Полное собрание стихотворений*, ред. текста и примеч. К. Чуковского, I, Москва-Ленинград 1934.
- Некрасов 1981: Н.А. Некрасов, *Полное собрание сочинений и писем в 15 томах*, I, Ленинград 1981.
- Парсамов 2012: В.С. Парсамов, *Конструирование идеи народной войны в 1812 году*, “Новое литературное обозрение”, 2012, 6, с. 69-94.
- Пюибюск 1833: [Пюибюск], *Письма о войне в России 1812 года, сочинение Пюибюска, генер.-обер.-провиантмейстера войск наполеоновых*, пер. А. Рюмина, Москва 1833.
- Радужицкий 1835: И. Р[адужицкий], *Походные записки артиллериста, с 1812 по 1816 год. Артиллерии полковника И... Р..., I (1812-й год. Война в России)*, Москва 1835.
- Ростопчин 1992: Ф. Ростопчин, *Ох, французы!*, Москва 1992.
- Сазова 2012: Л.И. Сазова, *Сказание о Наполеоне-антихристе: старообрядческий вариант антинаполеоновского мифа*, “Славяноведение”, 2012, 2, с. 42-61.
- Сегюр 2014: Ф.-П. де Сегюр, *История похода в Россию*, Москва 2014.
- Тартаковский 1980: А.Г. Тартаковский, *1812 год и русская мемуаристика (опыт источниковедческого изучения)*, Москва 1980.
- Тучков 1881: П.А. Тучков, *Главные черты моей жизни. 1817-1824*, Санкт-Петербург 1881.
- Успенский, Федотов 2019: П. Успенский, А. Федотов, *Изобретение социальной поэзии: от пения цыганок к “Тройке” Некрасова*, в: *Складчина: сборник статей к 50-летию проф. М. С. Макеева*, Москва 2019, с. 214-242.

- Успенский, Федотов 2024: П. Успенский, А. Федотов, *Как написать статьи о публичной женщине? “Когда из мрака заблужденья...” Н. Некрасова на дискурсивной карте эпохи*, “Slavic Literatures”, 2024, 149, с. 1-31.
- Федотова 2022: М.С. Федотова, *Миф о Севастопольской обороне 1854-1855 гг. в культурной памяти Российской империи*, Санкт-Петербург 2022.
- Чудинов 2012: А.В. Чудинов, *С кем воевал русский мужик в 1812 году? Образ врага в массовом сознании*, в: *Французский ежегодник 2012: 200 лет Отечественной войны 1812 года*, Москва 2012, с. 336-365.
- Чуровский 1837: [А.И. Чуровский], *Ротмистр-чернокнижник, или Москва в 1812 году. Роман из походных записок артиллерийского полковника, собранных Н. Вельтманом*, I-III, Москва 1837.
- Шкловский 1928: В.Б. Шкловский, *Матерьял и стиль в романе Льва Толстого “Война и мир”*, Москва 1928.
- Ящук 2022: Е.А. Ящук, *Творчество М.Н. Загоскина в процессе формирования русской национальной идеологии*, Tartu 2022.
- Hobsbawm, Ranger 2012: E. Hobsbawm, T. Ranger (eds.). *The Invention of Tradition*, Cambridge 2012.
- Maiorova 2010: O. Maiorova, *From the Shadow of Empire. Defining the Russian Nation through Cultural Mythology, 1855-1870*, Madison (WI) 2010.

Abstract

Andrey Fedotov, Pavel Uspenskij

The Reverse Side of the People's War according to Nikolay Nekrasov: the Poem Yes, Soldier! You in That War... within Discourses on the War of 1812

This article analyzes Nikolai Nekrasov's poem *Yes, Soldier! You in That War...* (*Tak, služba! sam ty v toj vojne...*, published in 1856), which addresses the War of 1812. The narrative centers on a peasant recounting his involvement in the brutal murder of a French captive family, bringing to the fore the theme of excessive peasant violence during the people's war. The poem is examined in the context of various discourses surrounding the 1812 campaign – such as participants' memoirs, Mikhail Zagoskin's novel *Roslavlev*, and official accounts of the Napoleonic invasion. Against the backdrop of dominant portrayals of the 1812 war, Nekrasov's poem reconsiders and problematizes widely held conceptions of the Russian people's character. The article also offers a detailed discussion of the poem's dating, sources, and Nekrasov's own negative attitude toward the work.

Keywords

Nikolaj Nekrasov; Poetics; War of 1812; People's War; War Memoirs; Crimean Campaign (1853-1856); Nation; Russian Peasants.

Алексей Вдовин

Реализм аффектов: Телесность, физиологизм и душевное расстройство в *Степном короле Лире* И.С. Тургенева*

Феномен реализма как "большого стиля" письма XIX века продолжает привлекать внимание исследователей. Наряду с такими хорошо известными приемами, как социальная детерминация и "эффект реальности" (Р. Барт), существуют и другие. К ним относятся, например, техника "прозрачного мышления" (Cohn 1978: 8-9; Fludernik 1993) и апелляция к естественнонаучной эпистемологии (Levine 1988; Merten 2003). Недавно Ф. Джеймисон предложил видеть еще одну черту реализма в усложнении нарративной техники изображать аффекты. Джеймисон определяет реализм через качественно новую (по сравнению с романтической) нарративную темпоральность, которая позволяла писателям изображать сам процесс возникновения аффектов как "волн телесных ощущений". Будучи сложными состояниями, аффекты сопротивляются любому языку, в котором нет разработанных категорий для их описания, и реалистический роман XIX века сосредоточился на художественном исследовании и объяснении возникновения и течения человеческих аффектов, объединяющих душевную и телесную сферы (Jameson 2013: 28-31, 35).

Концепция "реализма аффектов" Джеймисона может быть дополнена и историзирована через обращение к истории физиологии и психологии самих по себе и в их многочисленных пересечениях с литературным дискурсом эпохи реализма. Широко известно повышенное внимание реализма к эволюционной теории (Beer 1983; Levine 1988). Как показывают недавние работы, к ним следует добавить и физиологическую психологию 1860-70-х годов, которая выработала собственную физиологическую теорию *psychological self*, отдающую приоритет неосознанным и произвольным телесным импульсам ("non-conscious"), нежели подсознанию, каким мы его знаем после работ З. Фрейда (Dames 2007; Dames 2011). Дж. Досси в недавней диссертации продуктивно включает в круг релевантных для реализма научных дисциплин и раннюю российскую психиатрию, рассматривая непрозрачность мышления и аффективность персонажей *Обломова* И.А. Гончарова, *Отцов и детей* И.С. Тургенева, *Господ Головлевых* М.Е. Салтыкова-Щедрина и *Братьев Карамазовых* Ф.М. Достоевского в контексте идей российских психиатров 1840-60-х годов о "нечитаемости" сознания (Dossi 2022).

* Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2025 году.

Составители сборника *Русский реализм: общество, знание, повествование* так же напоминают о продуктивности рассматривать реализм как дискурсивное пространство вымысла (fiction), которое постоянно обращалось к научным теориям и дисциплинам своего времени и само, в свою очередь, поставляло различные нарративные модели и паттерны для научных сочинений (Вайсман и др. 2020: 43-44). Один из способов реализовать такую исследовательскую программу – сделать объектом изучения не только потенциальное воздействие научных дискурсов на воображение того или иного автора, но и изучение самой повествовательной формы. В частности, следуя в русле концепции Джеймисона, можно выдвинуть предположение, что реалистическая проза второй половины XIX века, подпитываясь открытиями из динамично развивавшихся физиологии и психологии, все больше должна была конструировать субъективность персонажей через их телесность и аффективность, а не только за счет традиционных интроспекций.

В статье я попытаюсь обосновать такой интердискурсивный подход на примере повести И.С. Тургенева *Степной король Лир* (опубл. в 1870). Поздняя проза писателя, с легкой руки прижизненной критики (например, Н.Н. Страхова), часто рассматривается как малоактуальная для его времени, как эскапистская попытка уйти от острых проблем современности в области “таинственного” и исторического, однако даже в позднесоветском тургеневедении существовали прямо противоположные мнения. Так, например, А.Б. Муратов и Л.Н. Осьмакова связали некоторые произведения Тургенева 1860-80-х годов с научным контекстом эпохи и доказали, что писатель очень быстро и заинтересованно реагировал на серьезные естественнонаучные вызовы эпохи (Муратов 1980; Осьмакова 1984). Я не просто суммирую все, что известно об интересе Тургенева к физиологии и психологии в 1860-70-е годы, но и предпринимаю попытку показать на примере *Степного короля Лира*, каким образом эти знания могли отразиться на нарративной форме, стиле и конструировании субъективности заглавного персонажа – Мартына Харлова.

Согласно моей гипотезе, изображение переживаний и поступков человека в прозе Тургенева с конца 1860-х годов становится гораздо более физиологичным и аффективным, чем ранее. Переломным текстом в этом смысле стала повесть *Степной король Лир*, до сих пор не изученная в этом аспекте. В ней Тургенев натуралистично описывает внешний вид и поведение заглавного героя, акцентируя внимание читателя на телесности и закрывая доступ во внутренний мир, о котором читателю предстоит догадываться по внешним знакам – цвету лица, запаху, жестам, жилам, венам, судорогам и прочим физиологическим проявлениям. Истоки такой манеры я усматриваю в обостренном интересе Тургенева к физиологии и психологии 1860-х годов, в контекст которой я помещаю повесть. Статья не только прослеживает, какие именно физиологические исследования точно были известны писателю, но и доказывает, что, делая Харлова меланхоликом, Тургенев явно намекал на меланхолию как душевное расстройство и причину аффектов. Я предполагаю, что физиологизированное изображение аффектов протагониста служит для осмысления национальных и

этнических черт его темперамента. Подчеркиваемая рассказчиком “русскость” Харлова конструируется не как статичное состояние, но как постоянный и часто немотивированный переход из одного состояния в другое – как вспышки аффектов, которыми герой не может управлять. В такой перспективе декларируемая “русскость” может приобретать явно ироническое толкование¹. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что предлагаемое мной прочтение не редуцирует сложность мотивной структуры *Степного короля Лиры* до единственной черты, а лишь добавляет к ней еще один слабо изученный аспект.

1. Телесность и физиологизм

Как и другие поздние повести Тургенева, *Степной король Лир* рассказан от первого лица 15-летним подростком – свидетелем событий – 30 лет спустя. Такая нарративная позиция сразу же задает доминирующий принцип внешнего наблюдения и позволяет рассказчику сосредоточивать внимание на эмоциях (т.е. внешних проявлениях чувств²) других героев, на их состояниях и поступках. В центре повествования – тип и трагическая судьба столбового, хотя и малообразованного дворянина Мартына Харлова, который, опасаясь скорой смерти, переписывает свое небольшое имение на двух дочерей Евлампию и Анну, а затем изгоняется ими из дома. Прямая проекция образа Харлова на заглавного героя трагедии У. Шекспира призвана подчеркнуть центральную тему повести – тему власти и ее влияния на психику и личность человека³. Эта проблематика лежит на поверхности, проговаривается в тексте через сопоставление жажды манифестировать власть у Харлова (а в финале у его дочери Евлампии) и в целом не единожды анализировалась тургеневедами. Однако ее стилистическая и нарративная подача и репрезентация в тексте не привлекали внимания. Рассмотрим ее подробнее.

Как подчеркивает Джеймисон, “говорить об аффектах значит всегда говорить о теле” (Jameson 2013: 34). Повесть Тургенева пронизана лейтмотивом телесности Харлова, который с самой первой встречи с рассказчиком описывается преимущественно через телесные проявления. В самом начале Мартын Петрович представлен рассказчиком как раблезианская фигура огромного роста, веса, размера и силы. Гиперболизированный характер имеют описания “пространного” лица, рук-“подушек”, плеч – “мельничных жерновов”, ушей – “калачей” и т.д. (Тургенев 1981: 159-160). Ги-

¹ Мой тезис отчасти полемичен прочтению Е. Фоминой, которая полагала, что “русский аффект” Харлова возвышается “до трагического безумия шекспировского героя” (Фомина 2014: 54). Я полагаю, что этническая идентичность в повести намеренно амбивалентна и может прочитываться как в “шекспировском”, так и в сниженно-ироническом регистре. О втором – далее.

² В современной психологии чувства рассматриваются как приватные, а эмоции как публичные проявления переживаний (Palmer 2004: 115).

³ Шекспировский пласт детально рассмотрен в Волков 2022: 233-358.

гантские размеры Харлова обыгрываются в шутке одного из его собеседников, который уподобляет его вымершим доисторическим существам – мастодонтам и мегалотериям (*Там же*: 161)⁴. Гиперболизация перерастает в гротеск, когда Харлов говорит, что внес свою миниатюрную жену в дом “на ладони” (*Там же*: 162), а рассказчик подчеркивает, что из-за источаемого “духа” (читай – запаха или даже вони из-за повышенного потоотделения) Мартына Петровича в их доме никогда не пускали дальше столовой (*Там же*: 163).

После судьбоносного вещего сна о жеребенке, в котором Харлову видится грядущая смерть, у него на короткое время нарушается действие левых руки и ноги, в чем он подозревает паралич (*Там же*: 175). Если в этот раз паралич оказывается лишь кратким онемением конечностей, затекших после сна, то в финале, когда герой падает с крыши, его разбивает настоящий паралич: вся левая часть тела оказывается у него обездвиженной⁵:

Потом он слабо повел одной – правой рукой (Максимка поддерживал левую), раскрыл один – правый глаз и, медленно проведя около себя взором, словно каким-то страшным пьянством пьяный, охнул (*Там же*: 220).

Кровь вдруг густо хлынула у него изо рта – все тело затрепетало.

“Конец!” – подумал я... Но Харлов открыл еще все тот же правый глаз (левая века не шевелилась, как у мертвеца)... (*Там же*: 221)

Насколько телесность в описаниях Харлова бросалась в глаза, хорошо демонстрируют отзывы двух известных читателей – Ф.М. Достоевского и Н.Н. Страхова. Последний в письме к Достоевскому от 23 ноября 1870 года сообщал:

“Король Лир” Тургенева произвел довольно сильное впечатление, хотя, несмотря на всю эффектность – многих совершенно оттолкнула брезгливость тона и вялость рассказа. Как боязлив стал Тургенев! У него очевидно бродят разные мысли насчет русской жизни, – но он не решается их прямо и ясно высказывать, и все рассказывает странные истории и курьезные случаи, будто бы не имеющие дальнейшего значения (Пиксанов, Цеховницер 1940: 269).

⁴ По данным Национального корпуса русского языка, лексема “мастодонт” появляется в русской прозе в 1833 году в фантастической повести О.И. Сенковского *Ученое путешествие на Медвежий Остров*, затем в *Докторе Крупове* Герцена (1846), романе Вс. Крестовского *Петербургские трущобы* (1864–66), публицистике М.Е. Салтыкова-Щедрина 1860-х годов, однако только Крестовский и Щедрин начали прямо именовать крупных людей мастодонтами. Слово “мегалотерий” – гораздо более редкое. НКРЯ дает лишь саму повесть Тургенева и *Очерки Крыма* Евг. Маркова (1872). Корпус русского романа на платформе “СОЦИОЛИТ” (<https://sociolit.ru>; НИУ ВШЭ) дает еще один текст Маркова – роман *Черноземные поля* (1876).

⁵ Любопытно, что еще в описании агонии Базарова в *Отцах и детях* фигурирует лишь один открытый глаз умирающего героя (“один глаз его раскрылся”).

Достоевский соглашался: “Напыщенная и пустая вещь. Тон низок” (Достоевский 1986: 153). Очевидным образом смешивая фигуру имплицитного автора с фигурой рассказчика, Страхов и Достоевский, тем не менее, реагировали, судя по всему, именно на гротескный физиологизм описаний Харлова, построенный на контрасте между сниженным стилем (“низкий тон”) и высоким шекспировским образцом.

Однако на этот контраст можно взглянуть и иначе. Дело в том, что брутальность, зримая материальность и контрасты между высоким и низким в высшей степени характерны для поэтики трагедий Шекспира, что Тургенев и его современники могли чувствовать, даже если тогда еще не было многочисленных исследований на эту тему. В *Степном короле Лиры* лейтмотивом, маркирующим и раскрывающим идентичность (“русскость”) героя, становятся телесные проявления напряженной душевной драмы Харлова, приводящие к резким изменениям в его настроении и поступках. Иными словами, перед нами как раз аффективная сторона натуры персонажа, которая, в отличие от тонких ощущений, хорошо поддается внешнему наблюдению и методично фиксируется рассказчиком. Перед тем, как перейти к анализу аффективности Харлова, необходимо выяснить, что наука середины XIX века думала об аффектах и что мог знать о них сам Тургенев.

2. Теория аффектов и физиология 1860-х годов

К 1860-м годам, когда Тургенев приступил к созданию *Степного короля Лиры*, теория аффектов была уже хорошо разработанной областью психологии и судебной медицины в разных европейских странах. Новаторские работы немецких и французских психиатров начиная с конца 1850-х годов начали освещаться в российских научных изданиях и переводиться на русский. Так, например, в 1868 году ведущий российский отраслевой журнал “Архив судебной медицины и общественной гигиены” перевел статью берлинского доктора Адольфа Лиона *Аффекты и страсти* (оригинал: Lion 1866), в которой давалось следующее определение аффекта:

Аффекты, *animi perturbation s. animi motus*, есть внутренне живое чувство, которое нарушая равновесие душевного строя, очевидно производит беспорядок в отправлениях телесных и психических и, на очень высокой степени, даже мгновенно прекращает их. Это чувство может быть различного рода и протекает различные степени, начиная от душевного волнения и кончая аффектом (Лион 1868: 4).

Уделяя особое внимание физиологическим отличиям проявления страстей от проявления аффектов, Лион особо подчеркивал “их могущественное влияние на тело. Аффекты могут обуславливать телесные ненормальности всякого рода, даже причинять внезапную смерть” (Лион 1868: 20). К основным аффектам ученый относил удовольствие и боль, из которых проистекают одушевление, гнев, отвага и страх (Лион 1868: 5). Позднее в 1880-е годы выдающийся датский физиолог и психолог Карл Ланге усовершенствовал классификацию эмоций и разработал научную теорию

аффектов, которые отныне были по физиологическим критериям отделены от эмоций и страстей. Аффекты, по Ланге, это простейшие душевные движения, всегда сопровождающиеся телесными физиологическими проявлениями (например, печаль, радость, страх, испуг, гнев). В отличие от них, чувства (страсти – такие как любовь, ненависть, презрение, изумление и др.) устроены более сложно, состоят из цепочки, слияния аффектов и длятся гораздо дольше, вовлекая в процесс сферы рассудка и представления. Ученый впервые в науке описал, какие физиологические проявления характерны для каких аффектов (Ланге 1890: 4-7). Так, печаль и тоска сопровождается ослаблением или параличом аппарата произвольных мышц, их слабой иннервацией, развивается субъективное чувство усталости; происходит судорожное сужение кровеносных сосудов, приводящее к малокровию (отсюда бледность, дрожь и пр.) (Там же: 9-10). Напротив, при аффективном состоянии гнева/неистовства происходит расширение сосудов, покраснение и припухание кожи, слизистые оболочки (глаз) наливаются кровью, надувание крупных вен, особенно на шее; нарушается иннервация отдельных мышц, приводящая к непроизвольным движениям одних мышц и параличу других (Там же: 19-20).

Тургенев всегда интересовался новыми исследованиями в естественных науках. В 1860 году, продумывая сюжет *Отцов и детей*, он проштудировал *Физиологические письма* Карла Фогта⁶. В конце 1860-х годов в переписке писателя наблюдается новый всплеск интереса к физиологии. В 1868 году Тургенев заказывает и прочитывает диссертацию русского историка философии и психолога, основателя Московского психологического общества Матвея Михайловича Троицкого *Немецкая психология в текущем столетии* (Москва, 1867)⁷. Это самый подробный тогда на русском языке обзор представлений о соотношении тела и души от Спинозы до Вильгельма Вундта – основателя современной экспериментальной психологии, который в 1860-х годах в Европе открывает свои первые лаборатории. Теории аффектов в книге Троицкого уделено очень мало места – лишь при изложении психологии И.Ф. Гербарта (Троицкий 1867: 268-269). Это объясняется тем, что аффекты рассматривались тогда по другому ведомству – судебной медицины и психиатрии (теории душевных расстройств).

Можно предполагать, что интерес к исследованию Троицкого у Тургенева был подготовлен чтением в начале 1860-х годов научных статей в журнале “Русское слово”. Как установила Л.А. Балыкова, Тургенев читал здесь статьи о Дарвине, обзоры В. Зайцева, переводные статьи М.Ф.К. Биша (Bichat) *Физиологические исследования о жизни и смерти* (1800) (Балыкова 2005: 103-104). Судя по всему, с 1867 года Тургенев выписывал новый научный журнал “Revue de la Philosophie positive”, издаваемый Э.

⁶ В письме А.А. Фету 27 мая (8 июня) 1860 г. Тургенев сообщал: “Я собираюсь работать, или, собственно говоря, читать. Я давно ничего путного не читал и отстал. Принялся за Карла Фогта. Ужасно умен и тонок этот гнусный материалист!” (Тургенев 1987: 199).

⁷ Об этом Тургенев сообщает в письме П.В. Анненкову 22 декабря 1867 года (Тургенев 1990: 87).

Литтре и Г.Н. Вырубовым с 1867 года и публиковавший статьи не только по философии и этике, но и по медицине, биологии, физиологии и другим наукам (*Там же*: 138). Во второй половине 1860-х годов Тургенев мог приобрести книгу *Populäre wissenschaftliche Vorträge* Г. Гельмгольца (1865), сохранившуюся в его парижской библиотеке (Ashton и др. 2019: 93).

На конец 1860-х годов приходится наиболее пристальное внимание Тургенева к передовому краю физиологии – психофизиологии. Главным “поставщиком” таких сведений для писателя оказался его старый друг и оппонент – А.И. Герцен. В письме от 8 (20) декабря 1867 года Герцен сообщал о своей поездке в Милан к сыну Александру, где тот занял место доцента и читал лекции: “Я только что из Флоренции. Все процветает, Саша заменил Савонаролу и читает проповеди о желудке – там, где тот читал о духе. Посылаю одну тебе” (Баскаков и др. 1986: 255). Какую же брошюру получил Тургенев? В комментариях к полному собранию сочинений Герцена и, соответственно, в *Летописи жизни и творчества* Тургенева (Мостовская 1997: 51) ошибочно указана гораздо более поздняя и известная книга Александра Герцена-младшего *Conversations physiologiques* (*Физиологические беседы*, 1899). В 1867 году А.А. Герцен находился лишь в начале своей научной карьеры и публиковал во Флоренции тонкие брошюры в серии “La scienza del popolo” – свои публичные лекции. Герцен-отец мог послать Тургеневу единственную к тому времени напечатанную 47-страничную лекцию *Fisiologia del sistema nervoso: lettura fatta al Museo di fisica e storia naturale in Firenze il 6 gennaio 1867* (Firenze 1867). Мог Тургенев прочесть и последовавшие за этой брошюры Герцена-младшего – *Sulla parentela fra l'uomo e le scimmie: lettura del dott. Alessandro Herzen fatta a Firenze nel Reale Museo di storia naturale, il 21 marzo 1869* (Firenze 1869) и *Analisi fisiologica del libero arbitrio umano* (Firenze 1870)⁸.

Очевидно, по прочтении этих книг между Тургеневым и А.А. Герценом в 1868 году завязалась несохранившаяся переписка, в результате которой писатель получил от ученого его докторскую диссертацию. Об этом Тургенев сообщал А.И. Герцену 27 февраля (11 марта) 1869 года: “Сын твой прислал мне свою диссертацию, которую я прочел с интересом” (Тургенев 1995: 165). Комментарий в полном собрании сочинений к этой фразе отсутствует, однако сегодня без труда можно установить, что речь идет о работе *Expériences sur les centres modérateurs de l'action réflexe*⁹ (H. Loescher, Turin 1864; “Опыты с центрами, регулирующими рефлексy”), развивавшей идеи научного руководителя диссертанта Морица Шиффа и цикл работ о рефлексах головного мозга Ивана Сеченова. В октябре 1869 года Тургенев возобновил переписку с А.А. Гер-

⁸ Наличие книг проверено по онлайн каталогу Научной библиотеки Флорентийского университета: https://onsearch.unifi.it/primo-explore/search?query=any,contains,alessandro%20herzen&tab=default_tab&search_scope=AllResources&vid=39UFI_V1&lang=it_IT&offset=0&fromRedirectFilter=true (дата доступа: 08.03.2024).

⁹ На сайте библиотеки Оксфордского университета доступна полная версия диссертации: <http://dbooks.bodleian.ox.ac.uk/books/PDFs/N10862592.pdf> (дата доступа: 08.03.2024).

ценом и сообщал ему, в частности, о высокой оценке его трудов: “Я всегда с большим удовольствием читал ваши дельные и умные брошюры и с участием следил за вашей карьерой. Я знаю, что вы занимаете во Флоренции видное место и что ваша деятельность встречает сочувствие и одобрение” (Тургенев 1994: 68)¹⁰.

Можно предполагать, что интенсивное чтение исследований европейских физиологов в 1867-69 годах побудили Тургенева обратить внимание и на их русских коллег. В начале марта 1871 года Тургенев в письме к Полине Виардо сообщал о посещении публичной лекции И.М. Сеченова: “Вчера я присутствовал на публичной лекции одного из наших лучших физиологов, г-на Сеченова. Он объяснял функции глаза – очень ясно и научно. Я сидел совсем близко от него – он предложил мне принять участие в некоторых опытах – как приятелю” (Тургенев 1999: 324). Согласно комментарию к письму, Тургенев посетил лекции ученого в клубе художников (*Там же*: 427). Воспоминания самого Сеченова позволяют дополнить этот эпизод любопытными подробностями:

В зиму 1868 года я читал в Художественном клубе публичные лекции, и на одну из них пришел И.С. Тургенев. Ему, как почетному гостю, отвели место с боку кафедры. Читал я в этот вечер о пространственном видении, и когда речь дошла до влияния степени сведения глаз на кажущуюся величину предметов – факта, видимого лишь в стереоскоп при сдвигании и раздвигании стереоскопических рисунков, – Иван Сергеевич был так любезен, что согласился засвидетельствовать перед публикой справедливость факта, посмотрел в зеркальный стереоскоп Уитстона, стоявший на кафедре, и заявил громким голосом, что действительно видел изменение величин образов в сказанном направлении (Сеченов 1907: 139-140).

Точный в воспроизведении сути эксперимента, Сеченов неверно датирует эту встречу зимой 1868 года: ее Тургенев провел в Баден-Бадене и в Петербурге быть не мог, оказавшись там и посетившим лекции ученого два года спустя, в 1871 году. Попутно возникает вопрос, прочел ли писатель в 60-е годы резонансную книгу Сеченова *Рефлексы головного мозга* (1864-1866), проштудированную, например, Ф.М. Достоевским. Пока нам не удалось найти документальных подтверждений этому, однако Тургенев точно представлял себе теорию Сеченова по ее резюме в диссертации А.А. Герцена.

Серьезный интерес к физиологии и психологии Тургенев проявлял и позже (в 1870-начале 1880-х годов), однако для нашей цели реконструировать дискурсивный контекст *Степного короля Лиры* достаточно и примеров из второй половины 1860-х годов. Хотя мы пока не обнаружили данных о чтении Тургеневым каких-либо исследований о психических патологиях или аффектах (само это слово в полном собрании сочинений писателя не встречается), в *Степном короле Лире* все же есть одно понятие

¹⁰ Подробнее о научной карьере А.А. Герцена и его спорах с отцом см. Сироткина 2001.

– меланхолии, которое в середине XIX века обозначало душевное расстройство и которое играет важную роль в развитии внутренней драмы Харлова.

3. *Деспотизм аффектов: меланхолия как душевное расстройство*

Когда повесть была в целом закончена, Тургенев, по совету П.В. Анненкова, добавил в текст небольшую главу (IV) о меланхолии и масонстве Мартына Петровича, которая написана в совершенно другой, интроспективной технике прозрачного сознания, и контрастирует с ограниченным кругозором молодого рассказчика. По своей нарративной природе это описание обладает отчетливой романной темпоральностью и делает характер Харлова более объемным и многомерным, заполняя очевидную лакуну в мотивах его поведения (Муратов 1980: 71-72).

Напомню, что Харлов читает масонский журнал Николая Новикова “Покоящийся трудолюбец” XVIII века, из которого герой цитирует *Рассуждение о беспорядках, производимых страстями в человеке и о средствах, какие в тех случаях употреблять должно*. Мартын Петрович использует его, чтобы противостоять “припадкам меланхолии”, время от времени находившим на него. Исследователи справедливо толковали масонские интересы Харлова как эффектный прием историзации его образа (Zöldhelyi-Deák 1991: 201-202; Волков 2022: 276-284)¹¹. За счет опосредованной чтением связи с Новиковым и московскими мартинистами (отсюда и имя Мартын: Волков 2022: 278) Тургенев добивается усложнения внутреннего мира читающего по складам дворянина. Как мне представляется, апелляция к меланхолии выполняет в повести еще и другую функцию – как это ни парадоксально, патологизации поведения Харлова.

Появление меланхолии, упомянутой в тексте несколько раз, конечно, не случайно: как показывает ее культурная история, она довольно рано была медиализована и к концу XVIII века воспринималась как базовый аффект, указывающий на расстройство (Юханнисон 2021: 27-43; Jameson 2013: 35). Несмотря на постепенную нормализацию, к середине XIX века меланхолия вошла в медицинские классификации душевных расстройств (Юханнисон 2021: 44-60) и даже в законодательство. Так, в начале 1860-х годов Медицинский совет при Министерстве внутренних дел Российской империи дополнил сферу приложения статьи Свода законов о безумии и помешательстве, внося в нее “меланхолию как по преимуществу болезнь воли” (Аскоченский 1866: 39-40). Вышедший в Петербурге в 1867 году перевод пособия известного немецкого психопатолога, основоположника современной психиатрии Вильгельма Гризингера *Душевные болезни* относил меланхолию к психопатологическим состояниям душевной подавленности:

¹¹ Есть первые попытки (Солис 2018) проанализировать бытование понятия “меланхолии” в переписке и романах Тургенева, однако их следует признать не очень удачными (если в романах автор в самом деле находит слово “меланхолия”, то в переписке – нет).

Основное страдание во всех формах этой болезни заключается в болезненном преобладании тяжелого, подавляющего отрицательного душевного аффекта, в состоянии психической боли. Состояние это может в начале, в самой чистой, первоначальной форме тоски, оставаться некоторое время в виде беспредметных ощущений страха, подавленности, печали (Гризингер 1867: 223-223).

Опираясь на предшествующие исследования, Гризингер отмечал, что большинство психических болезней начинается со Stadium melancholicum (*Там же*: 224), а затем приводят к сумасшествию. В дискурсивном плане характерно, что Гризингер использует понятие “аффект” для описания основной формы выражения болезненных состояний психики. Гризингер подробно описал разновидности меланхолии – от религиозной до мономании самоубийства и бешенства (*Там же*: 261-289).

В таком контексте становится понятно, что меланхолия Харлова – не просто отсылка к реалиям XVIII столетия и синоним тоски, но актуальный для времени публикации повести медицинский диагноз. Неслучайно и использование Тургеневым слова “припадок” (Тургенев 1981: 165): оно намекает читателю на периоды обострения у Мартына Петровича, в которые он склонен впадать в аффектацию и совершать иррациональные поступки. Соответственно, дальнейшее повествование разворачивается как все более частое проявление аффективных приступов Харлова. Он то “довольно легко раздражался” (*Там же*: 165), то впадал в оцепенение и тоску. Рассказчик резюмирует такой *modus vivendi* запоминающейся фразой “русский был человек” (*Там же*). Учитывая медиализованный контекст меланхолии, нельзя не видеть в этом высказывании о национальной идентичности глубокую иронию имплицитного автора.

Нестабильное душевное состояние героя проявляется в серии припадков меланхолии и вещем сне, в результате которых он решается на раздел имения. Он оформлен как своеобразный спектакль власти и напоминает очередной приступ, только на сей раз уже возбуждения и необычайной ажитации. Они так же внезапно, по совершении акта, сменяются грустью и протрацией, снова кодируемых рассказчиком как “меланхолия” (*Там же*: 184). За трапезой после церемонии Харлов снова возбуждается: “Харлов поднялся со стула, разинул рот, но, видно, язык изменил ему... Он вдруг ударил кулаком по столу, так что все в комнате подпрыгнуло и задрезбужало” (*Там же*: 187).

После нескольких месяцев отсутствия рассказчик истории возвращается в имение и становится свидетелем трагической развязки драмы Харлова. Поначалу Мартын Петрович находится в полной протрации из-за притеснений, которые он терпит от дочери и зятя Слеткина в собственном доме. Пытаясь пробудить в Харлове волю к жизни, рассказчик сталкивается со вспышкой агрессии:

– Уйди! – закричал он еще раз, – а то убью тебя, ей-богу, чтобы другим повадно не было!

Он дрыгнул всем телом как-то вбок и оскалился, точно кабан; я схватил ружье и бросился бежать (*Там же*: 203).

Именно во время этой сцены рассказчик наконец выдвигает про себя гипотезу о том, что Харлов “с ума сошел” (*Там же*). Далее события развиваются стремительно. Через три недели дочь с зятем изгоняют Харлова из дома, и он впадает в состояние аффекта, из которого ему уже не суждено выйти. Когда он, грязный и потный, прибегает в дом матери рассказчика, “он дышал тяжело и судорожно; что-то клокотало в его груди – и на всей этой забрызганной темной массе только и можно было различить явственно, что крошечные, дико блуждавшие белки глаз. Он был ужасен!” (*Там же*: 205). Физиологизация описания Харлова достигает кульминации: начиная с этого эпизода Тургенев все больше фокусирует внимание на телесных проявлениях аффекта и бешенстве героя, которое может привести к преступлению. Он сбивчиво рассказывает, как “в головушке помутилось, по сердцу как ножом...” (*Там же*: 209), и он решает зарезать своего зятя Слеткина, но вовремя убегает из дому. Однако идея мести вновь обурекает им, когда брат его покойной жены (Сувенир) провоцирует его, иронизируя над потерей Харловым своего крова: “...он задышал скорее, под ушами у него вдруг слово припухло, пальцы зашевелились, глаза снова забегали среди темной маски забрызганного лица” (*Там же*: 211). Будучи созвучным с “кровью”, слово “кров”, очевидно, и наталкивает Харлова на мысль об уничтожении крыши собственного дома. В этот момент “лицо его посинело, пена показалась на его истресканных губах” (*Там же*: 212).

Крайняя степень аффекта подчеркивается здесь, с одной стороны, описанием как будто автономного, а по сути рефлекторного движения частей тела независимо от воли их обладателя, а с другой, появлением пены на губах – признаком животного бешенства. Аналогия с гигантским ископаемым млекопитающим, равно как и с медведем или кабаном, становится здесь буквальной.

Кульминации медиализация в изображении Харлова достигает в сцене его смерти. Здесь Тургенев дает весьма натуралистичное описание предсмертной телесной судороги: “...вдруг ноги Харлова как-то безобразно повело и живот тоже; по лицу, снизу вверх, прошла неровная¹² судорога – точно так же исказилось и задрожало лицо Евлампии”¹³ (*Там же*: 221). Данные НКРЯ показывают, что после первого всплеска популярности слово “судорога” в русской прозе в 1830-е годы второй подъем и выход на плато стабильного употребления происходит в 1860-е годы. Можно утверждать, что в *Степном короле Лире* Тургенев откликается на эту тенденцию к адаптации физиологических понятий и терминов в языке художественной литературы.

¹² В черновом автографе также стоит прилагательное “неровная” (Лотман 1969: 198). Примечательно, что оно отличается от “нервная” всего лишь одной буквой.

¹³ Удвоение судороги намекает на наследственность: властность и аффективность переходит к Евлампии от отца, поэтому она и становится “хлыстовской богородицей” в эпилоге.

Кульминационную в сюжетном плане сцену, когда Харлов разрушает крышу собственного дома, следует понимать как проявление крайнего аффекта, хотя следует подчеркнуть, что Тургенев удерживается от объявления Мартына Петровича безумным и невменяемым (хотя в проанализированное выше описание может быть сближено с историями болезней реальных пациентов из статей 1860-х годов). Тонкая грань не перейдена, и *Степной король Лир* все-таки не является историей одной патологии, а остается многозначным художественным повествованием, в котором медицинская версия происходящего (меланхолия как диагноз) возможна лишь как подтекст.

* * *

Подход, какой я предлагаю для прочтения позднего Тургенева, помогает обнаружить внутренний конфликт между характером персонажа и шекспировским типом в *Степном короле Лире*. Если на уровне сюжета действия Харлова до определенного момента манифестируют его власть над дочерьми и другими героями, то на уровне нарративного изображения психики героя оказывается, что он не способен властвовать над своим телом: это аффекты и рефлексy властвуют над ним. Можно заключить, что история русского короля Лира из степной полосы Российской империи – это во многом история о деспотизме его аффектов. В истории, поданной с точки зрения рассказчика, тело гипостазирyется и метонимически замещает личность Харлова, который страдает душевным расстройством (меланхолией). В итоге Мартын Петрович проигрывает в масонской борьбе со страстями: он склонен к гордыне, самоотрицанию, спеси, аффекту – т.е. всем страстям, которые масонский кодекс призывал укрощать. Эта напряженная борьба Харлова с самим собой сопровождается интенсивными телесными и физиологическими проявлениями, откровенность которых поразила первых читателей повести.

Как я попытался показать, такая эстетическая реакция была глубоко закономерной, поскольку была следствием интенсивной физиологизации повествовательного стиля в прозе Тургенева конца 1860-х годов. Если в *Отцах и детях* новый научный язык фактов становится темой романа и проблематизируется (Holquist 1981), в поздних текстах, начиная с *Несчастной* и *Степного короля Лира*, Тургенев операционализирyет язык физиологии и психологии, делая его конструктивным элементом повествования. В этом плане проза Тургенева находилась в русле тех же нарративных экспериментов, что и у Достоевского и Толстого.

Источники

Аскоченский 1866:

А. Аскоченский, *Об освидетельствовании умалишенных по действующим в России законам*, “Архив судебной медицины и общественной гигиены”, 1866, 3, с. 24-48.

- Баскаков и др. 1986: В. Баскаков (сост.), *Переписка И.С. Тургенева: в 2 т.*, I, Москва 1986.
- Гризингер 1867: В. Гризингер, *Душевные болезни: Для врачей и учащихся*, пер. со 2-го нем. изд., под ред. Ф.В. Овсянникова, Санкт-Петербург 1867.
- Достоевский 1986: Ф.М. Достоевский, *Полное собрание сочинений: в 30 т.*, XXIX/1, Ленинград 1986.
- Ланге 1890: К. Ланге, *Аффекты (Душевные движения)*, Санкт-Петербург 1890.
- Лион 1868: А. Лион, *Аффекты и страсти*, "Архив судебной медицины и общественной гигиены", 1868, I, с. 1-21.
- Пиксанов, Цеховницер 1940: Н.К. Пиксанов, О.В. Цеховницер (сост.), *Шестидесятые годы*, Москва-Ленинград 1940.
- Сеченов 1907: И.М. Сеченов, *Автобиографические записки*, Москва 1907.
- Троицкий 1867: М.М. Троицкий, *Немецкая психология в текущем столетии*, Москва 1867.
- Тургенев 1981: И.С. Тургенев, *Полное собрание сочинений и писем: в 30 т.*, VIII, Ленинград 1981.
- Тургенев 1987: И.С. Тургенев, *Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма в 18 т.*, IV, Ленинград 1987.
- Тургенев 1990: И.С. Тургенев, *Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма в 18 т.*, VIII, Ленинград, 1990.
- Тургенев 1994: И.С. Тургенев, *Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма в 18 т.*, X, Санкт-Петербург 1994.
- Тургенев 1995: И.С. Тургенев, *Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма в 18 т.*, IX, Санкт-Петербург 1995.
- Тургенев 1999: И.С. Тургенев, *Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма в 18 т.*, XI, Санкт-Петербург 1999.
- Lion 1866: A. Lion, *Affekte und Leidenschaften, nach dem neuesten Standpunkt der Wissenschaft und Gesetzgebung*, Neuwied 1866.

Литература

- Балыкова 2005: Л.А. Балыкова, *Тургенев – читатель. По страницам мемориальной библиотеки*, Орел 2005.

- Вайсман и др. 2020: М. Вайсман, А. Вдовин, И. Клингер, К. Осповат, *Введение. "Реализм" и русская литература XIX века*, в.: Они же (сост.), *Русский реализм XIX века: общество, знание, повествование*, Москва 2020, с. 5-66.
- Волков 2022: И.О. Волков, *Уильям Шекспир в художественном мире И.С. Тургенева ("Тамлет" и "Король Лир")*, Москва 2022.
- Лотман 1969: Л.М. Лотман, *Черновая редакция "Степного короля Лиры"* в: *Тургеневский сборник*, V, Ленинград 1969, с. 147-207.
- Мостовская 1997: Н.Н. Мостовская, *Летопись жизни и творчества И.С. Тургенева. 1867-1870*, Санкт-Петербург 1997.
- Муратов 1980: А.Б. Муратов, *Повести и рассказы Тургенева 1867-1871 годов*, Ленинград 1980.
- Осьмакова 1984: Л.Н. Осьмакова, "Таинственные" повести и рассказы И.С. Тургенева в контексте естественно-научных открытий второй половины XIX века, "Филологические науки", 1984, 1, с. 9-13.
- Сироткина 2001: И. Сироткина, *Герцен-отец и Герцен-сын: спор о науке и человеке*, "Вопросы истории естествознания и техники", 2001, 4, с. 5-24.
- Солис 2018: Ж.И. Солис, *Мотивно-тематический комплекс меланхолии в переписке И.С. Тургенева (1859)*, "Спасский вестник", XXVI, 2018, 1, с. 273-279.
- Фомина 2014: Е. Фомина, *Национальная характерология в прозе И. С. Тургенева*, Tartu 2014.
- Юханнисон 2021: К. Юханнисон, *История меланхолии*, Москва 2021⁵.
- Ashton и др. 2019: A. Ashton и др., *Turgenev Library at Vassar in: Ivan Turgenev and His Library. An Exhibition*, Poughkeepsie (NY) 2019, с. 55-94.
- Beer 1983: G. Beer, *Darwin's Plots: Evolutionary Narrative in Darwin, George Eliot and Nineteenth-Century Fiction*. Cambridge 1983.
- Cohn 1978: D. Cohn, *Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction*, Princeton 1978.
- Dames 2007: N. Dames, *The Physiology of the Novel: Reading, Neural Science and the Form of Victorian Fiction*, Oxford 2007.
- Dames 2011: N. Dames, *1825-1880. The Network of Nerves* in: D. Herman (ed.), *The Emergences of Mind: Representation of Consciousness in Narrative Discourse in English*, Lincoln-London 2011.
- Dossi 2022: G. Dossi, *Unseemly Selves: Russian Realism and Early Psychiatry*. PhD dissertation, Harvard 2022.
- Fludernik 1993: M. Fludernik, *The Fictions of Language and the Languages of Fiction: The Linguistic Representation of Speech and Consciousness*, London-New York 1993.

- Holquist 1984: M. Holquist, *Bazarov and Secenov: The Role of Scientific Metaphors in Fathers and Sons*, "Russian Literature", XVI, 1984, 4, с. 359-374.
- Jameson 2013: F. Jameson, *The Antinomies of Realism*, London 2013.
- Levine 1988: G. Levine, *Darwin and the Novelists. Patterns of Science in Victorian Fiction*, Boston (MA) 1988.
- Merten 2003: S. Merten, *Die Entstehung des Realismus aus der Poetik der Medizin. Die Russische Literatur der 40er bis 60er Jahre des 19. Jahrhunderts*, Wiesbaden 2003.
- Palmer 2004: A. Palmer, *Fictional Minds*, Lincoln (NE) 2004.
- Zöldhelyi-Deák 1991: Z. Zöldhelyi-Deák, К проблеме "мировых образов" в произведениях И. С. Тургенева ("Степной король Лир") в: *Ex Oriente Lux. Melanges offerts en hommage au professeur Jean Blankoff, a l'occasion de ses soixante ans*, II, Bruxelles 1991, с. 197-209.

Abstract

Alexey Vdovin

Realism of Affects: Corporality, Physiology and Mental Disorder in King Lear of the Steppes by I.S. Turgenev

This article explores the interaction between the Realist literary style and contemporary scientific discourse in Ivan Turgenev's novella *King Lear of the Steppes* (1870). Drawing on recent research on the intersections between Realism and modern scientific knowledge, the analysis focuses on the influence of 1860s physiological psychology and affect theory – fields that, as the article argues, were of particular interest to Turgenev. Through a close reading of the physiological depiction of the protagonist, Martyn Charlov, and his body, the article demonstrates how Turgenev constructs the character's subjectivity at both the stylistic and narrative levels through descriptions of his affects, especially those caused by melancholy. The article also uncovers the medical connotations of the term "melancholy" in the 1860s, when it was regarded as a form of mental illness and clinical diagnosis. Consequently, Charlov's episodes of melancholy may be interpreted as an authorial allusion to this disorder, casting an ironic light on the narrator's claims regarding the protagonist's authentic "Russianness".

Keywords

Ivan Turgenev; *King Lear of the Steppes*; Narratology; Physiology; Affects.

Илья Веницкий

Ослиная песня.

Канцонетка Альдо Палаццески *Дайте мне порезвиться* (1910) в истории и мифологии российского (анти-)футуризма*

Язык-то по себе плоховат, грубеньк, пахнет татарщиной.
Что за *ы*? Что за *и*, что за *и*, *иий*, *иий*, *при*, *тры*? О, вар-
вары!.. Извини, что я сержусь на русский народ и на его
нарекание. Я сию минуту читал Ариоста, дышал воздухом
Флоренции; наслаждался музыкальными звуками авзо-
нийского языка и говорил с тенями Данта, Тасса и сладост-
ного Петрарки, из уст которого что слово, то блаженство!

К.Н. Батюшков – Н.И. Гнедичу, 5 декабря 1811 года

Крик осла был протяжен и долог,
Проникал в мою душу, как стон,
И тихонько задернул я полог,
Чтоб продлить очарованный сон.

А. Блок, *Соловьиный сад*

Подобно пародиям, карикатуры, насмешки и ругань критиков, особенно та-
лантливых и принципиальных, часто выступают как заманчивое приглашение к ис-
следованию рецепции и интерпретации литературных экспериментов в соответствую-
ющих культурных контекстах. Такой род филологической критики 'от противного'
(и грубого) я бы назвал *boo-criticism*. В предлагаемой статье рассматривается один из
ярких примеров последнего, выводящий на сцену мифопоэтический образ, широко
представленный в бурных литературных полемиках 1910-х годов и 'озвученный' в шу-
точном стихотворении-манифесте известного итальянского футуриста.

1. *Фигуристы*

В *Последних листьях* В.В. Розанова, впервые опубликованных А.Н. Николюки-
ным в "Нашем наследии" 1998 года (№ 45, с. 47), а затем в собрании сочинений писа-
теля, есть колоритная запись-мысль, датируемая 16 апреля 1916 года:

* Благодарю Олега Лекманова, Илью Кукулина, Майкла Вахтеля, А.Ф. Строева и Ген-
надия Обатнина за ценные замечания.

... да для ослиного общества и нужна только ослиная литература. Вот побежали за фигуристами, п. ч. ноги их только и умеют бегать туда, где слышится и пальба, и пахнет овсом. “Чего ты дивишься, Розанов?”

Иги, иги, иги.

Ого-ого-ого...

Тпру, тпру, тпру:

– это самое существо теперь литературы, п.ч. давно самое существо общества есть поле с овсом и лошади.

“Плодитесь. Размножайтесь. И наполняйте землю”.

Чем началось – тем кончилось (Розанов 1994-2010, XI: 114).

В связи с этой записью вспоминается старый анекдот: “– Ты слышал? Бьют евреев и велосипедистов. – А почему велосипедистов?” В нашем случае можно спросить: а почему *за фигуристами*?

В 1916 году слово ‘фигуристы’ употреблялось чаще всего как искусствоведческий термин (например, так Александр Бенуа называл представителей “фигурной живописи”, “оживлявших пейзаж фигурами” (Бенуа 1912: 378; Бенуа 1968: 307). В свою очередь, *Энциклопедический словарь* Брокгауза и Ефрона писал о секте фигуристов, “которые, непристойно обнажаясь, изображали собою то бессилие неискупленной человеческой природы, то чистоту христианской церкви” (ЭС 1895: 919). Сам Розанов использовал это слово еще в 1897 году в письме к С.А. Рачинскому по отношению к “фигуристу” современнику-администратору:

но он не был “фигурою”, а граф Капнист был фигурист: высокий рост, матовый цвет лица, словом – “цвет наваринского дыма с пламенем”, и хоть он дурак и проходимец, но для фигурных целей вполне достаточен: [...] Так-то Россия наша и “прохвостится” со своими “фигурами” и на всех решительно путях дела своего (ЛИ: 566).

Очень редко слово ‘фигуристы’ употреблялось в современном значении, да и то только по отношению к конькобежцам. Так, в 1902 году “Нива” сообщала о первом назначенном на 16-е февраля в Петербурге состязании “конькобежцев-фигуристов” на чемпионате России (ЕЛПН: 407). Но даже если у Розанова речь идет о последних, потому что у них есть ноги, то все равно не понятно, почему они бегут туда, где слышится пальба и пахнет овсом. И, наконец, как они связаны с литературой, ее ‘ослиной’ сущностью и приведенным в той же записи разбитым на три строки ржанием?

Ответ на этот вопрос прост. Речь здесь не идет о фигуристах-конькобежцах, фигуристах-художниках или фигуристах-сектантах. Дразнилка Розанова имеет совсем других адресатов и раскрывает целый веер эстетических и идеологических проблем, волновавших создателя язвительно-панического ‘листопада’.

2. *Фру-фру-фру*

В начале 1913 года в *Современном мире* вышла статья критика-социалиста Василия Львова-Рогачевского *Без темы и без героя. Литература за 1912 год*, в которой цитировался какой-то современный эго-поэт, опубликовавший заумные стихи “Три-три-три / Фру-фру-фру / Иги-иги-иги / Угу-угу-угу”. “Поэт забавляется безумно, безмерно!.. – возмущался критик. – Вот эти “иги – иги – иги” соблазнили некоторых из представителей современной молодежи”. “Поддельватели, имитаторы и плагиаторы, – продолжал критику футуризма Рогачевский, – суетятся, гениальничают и, увенчав себя лавровыми венками, ревут победоносно: “Иги-иги-иги! Угу! угу! угу!”” (Львов-Рогачевский 1913: 100-101).

Тогда же эта статья привлекла внимание Розанова. В *Перед Сахарной* (1913) он подхватывает лошадино-ослиный мотив и издевательски развивает тезис критика:

Три-три-три
Фру-фру-фру
Иги-иги-иги
Угу-угу-угу.

– Это хорошо. После “Синтетической философии” в одиннадцати томах Герберта Спенсера это очень хорошо (*Статья о футуристах Рог-Рогачевского с примерами из их поэзии*).

А не верят люди в Бога, Судьбу и Руку. Но Он дерет за ухо не только верующих, но и не верующих в Него (Розанов 1994-2010, IX: 16).

Заметим, что в желчном раздражении Розанов переделывает “залихватскую русскую” (*там же*: 21) фамилию (на самом деле псевдоним) критика, печатающего статьи в “еврейском” журнале и являющегося, по мнению писателя, представителем “царства социал-демократической пошлости” (*там же*: 127), в “Рог-Рогачевский”. Эта насмешка (не без эротического, антисемитского¹ и демонического намеков), возможно, является мстостью за выпад Рогачевского, назвавшего в упомянутой выше статье творчество Розанова верхом цинизма, а саму манеру этого “духовного отца веселых импрессионистов-критиков” “пределом, до которого могла дойти современная беспринципность писателей торгующих словом” (Львов-Рогачевский 1913: 97-98). В записи от 28 мая 1915 года в *Мимолетном* шутовская фамилия “Рог-Рогачевский” включается Розановым в ряд “сияющих” “по сю пору” “свинских” имен социал-демократических критиков:

“Хрю” все старается и везде ползет.
“Хрю”.
Рог-Рогачевский, и Иванов-Разумник стараются.
“Хрю”.

¹ Белорусское (Волинское) местечко Рогачев было центром хасидизма.

Но ведь это принцип истории? Один из ее принципов.
 Мгла. Туман. Сырость.
 Господи: это так же вечно, как
 Солнце. Свет, Воздух (*там же*: 19).

В свою очередь, насмешка Розанова над Гербертом Спенсером в *Сахарне* связана с резко отрицательным отношением писателя к английскому либеральному философу:

Никакого желания спорить со Спенсером: а желание вцепиться в его аккуратные бакенбарды и выдрать из них ½. [...] его “Синтетическая философия” повторяет разграфленный аккуратно на “отделения” и “столоничества” департамент. И весь он был только директор департамента, с претензиями на революцию (Розанов 1994-2010, XXX: 104).

Наконец, ‘аудио-мораль’, выводимая Розановым из приведенной выше цитаты (“Но Он дерет за ухо не только верующих, но и не верующих в Него”) отсылает читателя к библейским формулам – от пророчества Исайи (Ис. 59: 1-2) до Послания римлянам апостола Павла (Рим. 11: 8) и Откровения св. Иоанна: “Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам” (Откр. 3: 13).

Иначе говоря, заимствованная из статьи Рогачевского футуристическая кричалка (нечто вроде охотничьего гиканья, травли “улю-лю” или современной речевки футбольных болельщиков “Olé, Olé, Olé”) истолковывается Розановым как неминуемая и заслуженная фонетическая казнь человечеству, не верящему в Бога, судьбу и карающую десницу.

3. *Итальянская песенка*

Совершенно очевидно, что Розанов в записи 1916 года имеет ввиду не фигуристов, а футуристов и их веселый ‘жерябчий’ стихотворный девиз, который он за несколько лет до того позаимствовал у Рогачевского. Последний его, конечно, не выдумал, но нашел в газетных публикациях 1912 года. Впервые это “фру-фру-фру” было процитировано в статье Я. Кометова *Маньяки поэзии. Футуристы: Письмо из Рима*, опубликованной в “Московской газете” за 12 ноября 1912 года (Поляков 1998: 82), а затем в фельетоне *Из газет о кубизме*, вышедшем в сатирическом журнале с карикатурами “Шут” (1912, № 51). Анонимный автор фельетона цитировал текст манифеста Маринетти (“После царства животных начинается царство механики. Да здравствует механический человек со сменными частями!”) и в качестве ‘образца практики’ этой теории приводил ‘абзац’ из стихотворения Альдо Палаццески:

Три, три, три,
 Фру, фру, фру,
 Игу, игу, игу,
 Уги, уги, уги,

Поэт забавляется
Безумно,
Безмерно.

“Каждый образец, – ехидничал фельетонист, – заключает в себе четыре строки ‘механических’ слов и три ‘животных’. Комментарии [sic!] излишни”².

Процитированные выше ‘заумные’ стихи представляют собой перевод (точнее, транслитерацию) начала *Канцоньетки* итальянского сподвижника Маринетти Альдо Палаццески (Aldo Palazzeschi, настоящая фамилия Giurlani, 1885-1974) о том, как поэту хочется порезвиться “безумно и безмерно” (слова, приведенные в статье Рогачевского):

Tri, tri tri
Fru fru fru,
uhi uhi uhi,
ihu ihu, ihu.
Il poeta si diverte,
pazzamente,
smisuratamente [...]
(Palazzeschi 1910: 181)³

Итальянский поэт впервые опубликовал эту играющую звуковыми переливами и выкриками песенку в сборнике с провокационным названием *Поджигатель* (*L'Incendiario*, 1910). Приведем его стихотворение в полном переводе, выполненном Евгением Солоновичем для издания *Западноевропейская поэзия XX века*:

ДАЙТЕ МНЕ ПОРЕЗВИТЬСЯ Канцонетта

Кри кри кри,
фру фру фру,
уйи уйи уйи,
ийу, ийу, ийу!

² “Шут”, 1912, 51, с. 5. Сразу за этой заметкой в “Шуте” следовал стихотворный фельетон Георгия Рокка “Кубисты”, написанный от имени последних: “Мы дикую чушь в поэзию вводим... Понятны нам, братья, / Мычанье коровы...” и т.д. (*там же*). Примечательно, что на соседней странице была напечатана юмореска Кво-Дума *Премилая и преумная дама*, высмеивавшая светское увлечение Гербертом Спенсером (или “Снепсером”, как произносила его имя дама, “приятная во всех смыслах”): “Дети мои, чтобы быть вполне корекатными людьми надо читать не Леонида Горького и не Брешку Дымова, а Снепсера. – Спенсера, мамаша, поправил ее сын. – Ты пожалуйста не поддевай мать, спенсер это может быть один, а Снепсер это другой, завтра же возьмите его в библиотеке и читайте вслух” (*там же*: 5).

³ О контексте и установке стихотворения см. Tamburri 1990: 90-91.

Поэт забавляется бесконечно.
Мешать ему бессердечно!
Тем паче не надо злиться,
дайте ему порезвиться,
бедняжке,
ведь он и не помышляет о большей поблажке.

Куку руру,
руру куку,
куккуккуруку!

Что значит сие безобразие?
Эти строфы... гм... экзотические?
Вольности, вольности,
вольности поэтические.
Они моя слабость.

Фарафарафарафа,
Таратаратарата,
Парапарарапа,
Ларалараларала!

Хотите, растолкую?
Да это же отходы.
Прошу без оскорблений
не глупости –
отбросы других стихотворений.

Бубубубу,
Фуфуфуфу.
Фриу! Фриу!

Но на кого рассчитан
подобный бред?
Зачем его строчит он,
горе-поэт?

Билобилобилобилобило
блюм!
Филофилофилофилофило
флюм!
Билолю.
Филолю.
Ю.

Нет, неправда, что это не значит...
Это значит кое-что,
это значит...
Сейчас вам все станет ясно:

представьте, что кто-то поет, не зная слов.
Но ведь это ужасно.
Ужасно.
А я нахожу, что прекрасно.

Ааааа!
Эээээ!
Иииии!
Ооооо!
Ууууу!
А! Э! И! О! У!

Как вам, не знаю,
а мне за вас неловко.
Скажите честно –
это не рисовка:
мол, посудите сами, не так уж это трудно
– грешить стихами?

Уиск...
Уиуск...
Уишу... шушу,
Шукоку...
Коку коку,
Шу ко ку.

Но, юноша, вы многого хотите
от тех, кто не знаком
с японским языком.

Аби, али, алари.
Риририри!
Ри.

А я бы не мешал ему кривляться,
пусть корчит из себя паяца,
он в результате прослывет ослом –
и подделом.

Лабала,
фалала,
фалала...
и еще лала...
и лалала лалалалала лалала.

Такие сочинения вчера
еще сошли бы с рук.
Сегодня же, куда ни плюнь –
вокруг профессора.

Ахахахахахаха!

Ахахахахахаха!

Ахахахахахаха!

Тем более я прав,
не возражайте,
теперь, когда любой – ума палата,
никто пророком не считает
поэта
– и дайте мне порезвиться!

(ЗП: 363-366)⁴

Итальянский теоретик литературы и поэт Гвидо Маццони замечает, что стихотворение Палаццески напоминает средневековую провансальскую тенцону (поэтический диалог-состязание), и может быть прочитано как реклама или транскрипция театральных *Futurist soirées*, ставивших целью спровоцировать консервативную публику Mazzoni 2022: 178). Эта “песенка с насмешливо-издевательскими припевами, – пишет исследовательница итальянского авангарда Е.Ю. Сапрыкина, – [...] была по существу скоморошеским отпеванием традиционного представления о поэзии. Она утверждала фактически нечто близкое эстетике ‘паролиберизма’ футуристов – право поэта на свободную интуицию и на всевластие иррационального начала в его сочинениях, выламывающегося из устоявшихся традиций поэтического языка”. Иными словами, фонодекларация Палаццески, за которую воображаемая им публика называет поэта ослом (“*del somaro*”)⁵, представляла собой “беззаботное фиглярство клоуна, который потешается над ‘профессорской’ серьезностью поэзии, доводя до абсурда свою свободную прихоть (ведь теперь ‘никто пророком не считает поэта ну так дайте мне порезвиться!’)”. “Подчеркнутый самой формой канцонетты, написанной в ритме частушки или считалки, – заключает исследовательница, – наивно-издевательский смех – кривлянье – это, пожалуй, не футури-

⁴ Надо заметить, что некоторые выкрики поэта напоминают глоссы из других языков (например, маори), деформированные оперные рефрены, вокальные скэты, песенные ‘ротовушки’, детские словечки и экзотические топонимы. Русские читатели, видимо, не дошли до середины стихотворения, где появляется обценное для русского уха “*Huisc... Huisc... Huisciu... sciu sciu*”, заимствованное, возможно, из ирландского языка (вода). Солонович, к слову, очень остроумно переводит это ‘текущее’ слово как ‘уиск’ (виски).

⁵ Ослиный мотив в стихотворении, как указала нам Лидия Трипиччионе, возможно, ассоциируется с ленью и глупыми забавами школьника. Итальянские учителя заставляли нерадивых учеников сидеть в углу с надетыми на голову ослиными ушами. Пиноккио у Карло Коллоди превращается в осла со своим другом-лентяем Лучиньоло, ибо “дети, которые ленивы, которые невзлюбили книги, школу и учителей и проводят время в играх и забавах”, “в конце концов становятся ослами” (Галанов 1974: 35).

стический, как представлялось Маринетти, а уже дадаистский ‘плевок на Алтарь Искусства...’” (Сапрыкина 2010: 389)⁶.

4. *Vox asini*

Примечательно, что в российских журналах от “Аполлона” до “Нивы” зачин стихотворения Палаццески цитировался в 1912-1913 годах как кредо новой поэзии. Михаил Осоргин в *Очерках современной Италии* (1913) писал, что итальянский поэт “побил рекорд поэтической вольности” в стихотворении *Lasciatemi divertire!* (*Предоставьте мне развлекаться!*):

И вот как развлекается поэт. “Tri tri tri / fru fru fru / ihu ihu ihu / uhiuhi uhi!..” И так он развлекается на пяти страницах великолепной бумаги. Это, конечно, даже не декаданс, а простое мальчишество. Но это мальчишество, это стремление во имя протеста “divertirsi pazzamente, smisuratamente” (развлекаться сумасшедше и без меры) мешает отнестись к футуристам критически-серьезно (Осоргин 1913: 227; Осоргин 2022: 349-350).

“Глубоко неправы, – писал в январском литературном приложении к “Ниве” в 1914 году А. Дейч, – те, которые видят в этих мальчишеских выходках признаки ненормальности. Что из того, что у душевно больных попадают точно такие же писания? Душевно-больные считают подобные вещи ‘творчеством’, тогда как футуристы понимают, что это шарлатанство. Больше того: они пишут такие нелепости идейно. Во имя протеста стремятся они ‘divertirsi pozzamenti smisuratamenti’ (‘развлекаться сумасшедше и без меры’). Именно отсутствие меры, переоценка ценностей и являются главным недостатком творчества футуристов” (Дейч 1914: 128).

Статус ‘поджигательского’ стихотворения Палаццески закрепила программная миланская антология 1912 года *I Poeti Futuristi*, в которую оно было включено (с. 419). Дальнейшая рецепция этого провокативного текста в русской литературе и критике раздваивается – для одних оно служит призывом к творческому эксперименту (все более и более радикальному), для других – выражением нахальной претенциозности и животной дикости молодых авторов (все более и более грубым).

В том же 1913 году, когда Рогачевский представил строки о фру фру фру как манифест новой эпохи, этот же текст переработал в гораздо более радикальную заумь Илья Зданевич. Свою версию (сдвиг и монтаж) веселых стихов Палаццески Зданевич опубликовал в лучистском *Ослином хвосте и Мишени* (1914), где противопоставил ее экспериментам футуристов и ‘слюнявого’ Хлебникова, которых считал не достаточно смелыми реформаторами:

⁶ Чудесное сценическое исполнение это стихотворения можно послушать здесь: <<https://www.youtube.com/watch?v=K2OA2M9vQoY>>. Заметим, что в музыкальном контексте начала XX века сочетание “Fru-Fru” (Фру-Фру) ассоциировалась с именем гризетки из популярной опереты Франца Легара *Веселая вдова* (*Die lustige Witwe*, 1905): “Ло-ло! До-до! Жу-жу! Фру-фру! Кло-кло! Мар-го!”.

Фру Фру Фру
 Уги Уги Уги
 Игу Игу Игу
 Ага Ага Ага
 Поэт забавляется
 Безумно
 Безмерно
 Ааааа
 Еееее
 Пинии
 Ооооо
 Ууууу
 А Е И О У

(Зданевич 2014: 123).

Позднее Зданевич запишет и зарисует демонстративный крик осла в эротической драме *Асел напракат*, вошедшей в цикл из пяти радикально-заумных действий *аслааблИчьа* (1918-1923): “УЮю, ГУЮю [...] СЯЯ Ссь МЯЯ Мьь ХАЯ [...] КУКУ-РИКУ” (см. у Палаццески – “сиссиссигисс”).

Привлекло стихотворение Палаццески и главного русского заумника, автора “гласных стихов” (Орицкий 2020: 553-555) Алексея Крученых, связавшего этот фрагмент (или, в данном случае, *фругмент*) с выкриками футуристов и визгом свиней (см. в *Весне с угощением*: “Вот сфабрикованные мной фру-фру, / А кто захочет – есть хрю-хрю / Брыкающийся окорок!...”; а также в *Военном вызове зау* [последнее слово происходит не только от зауми, но и от немецкого Sau, свинья: “Гва-гва... уге – пругу па-гу...”])⁷.

В итоге, веселый зачин *Канцонетки* Палаццески приобрел в русском литературном контексте специфические анималистические ассоциации, отсылавшие как к крикам осла, лошадиному ржанию, жеребячьему смеху (иги-го)⁸ или хрюканью свиньи, так, возможно, и к загнанной Фру-Фру Вронского⁹ и вообще к замученным парнокопытным, бившим по клавишам русской классической и новаторской литературы.

Это свино-ослино-лошадиное звукоподражание¹⁰, представляющее собой разыгранную, как по нотам, анаграмму самого движения (fru-tri – futuri), связыва-

⁷ См. Виноцкий 2009: 261-279. Ср. также известную декларацию Крученых “Как ослы на траве, я скотина”.

⁸ Ср. мотив жеребячьего смеха в русской эротической сказке *Поп ржёт как жеребец*: “После того баба его пошла за водой мимо попова двора, увидела попа и ну ржать: ‘Иги-и-и-и-и!’ – ‘Ну, – сказал поп, – муж твой славно меня угигикал!’ С тех пор перестал поп ржать по-жеребячи” (Афанасьев 1984: 143).

⁹ Само имя лошади, как известно, заимствовано из дамского гардероба XIX века – звукоподражание шуршанию широких воланов платья.

¹⁰ Заметим попутно, что в русском языковом сознании этот животный крик имел еще и отчетливо маскулинный характер, отвечавший саморепрезентации футуристов и презри-

лось в сознании современников со скандальной картиной *Et le Soleil s'endormit sur l'Adriatique* ('И солнце заснуло над Адриатикой') мифического художника-чрезмерника' Иоахима-Рафаэля Боронали (анаграмма французского слова *aliboron* – осел), написанной якобы хвостом осла-извозчика Лоло, выставленной в 1910 году на 26-й выставке парижского *Салона Независимых* и давшей в 1912 году наименование группе *Ослиный хвост* Михаила Ларионова (Редько 1924: 73-89). В поэтическом преломлении эта изначальная тема трансформировалась в своего рода 'голос футуризма'. Отметим в этом контексте параллель с *Соловьиным садом* Александра Блока (1915), где мистическому соловьиному напеву противопоставлялся житейский крик осла: "Не смолкает напев соловьиный, / Что-то шепчут ручьи и листы. / Крик осла моего раздается / Каждый раз у садовых ворот". Этот образ, в свою очередь, восходит к шуточной символистской пьесе-маскараду Лидии Зиновьевой-Аннибал *Певучий осел* (публ. первого действия – 1907)(Богомолов 1993: 159-191), по всей видимости, лежащей в основе русского модернистского истолкования ослиной темы от Блока до Зданевича.

В фельетонах и пародиях на футуристов ослиный мотив встречается постоянно (обыгрываются самые разные топосы – от заговорившей валаамовой ослицы (Булгаков 1918: 66) до надменных тупых басенных осликов). Так, в фельетоне *Розовое мордобитие* (*Московская газета*. 3 ноября [21 октября] 1913 г.) описывается скандал на открытии кабаре "Розовый фонарь", где выступали Маяковский "в своей полосатой куртке" и "разрисованный" Михаил Ларионов:

– Господа, – кричит Ларионов, – вы – ослы современности.
В зале воцаряется ад.
– Что?! Негодяй!
– Ты сам осел!
– Долой его! Вон!
– Ломовой извозчик!

(Крусанов 1996: 132)

Борец с футуризмом А. Измайлов символически называет свой известный фельетон *Рыцари зеленого осла* (1913), направленный против спектакля *Владимир Маяковский*:

Футуристы, конечно из принципа не читают старых писателей, а им не худо бы знать басню Хемницера о "Зеленом осле", где талант за сто лет предсказал появление этой вредной секты и ее финал. "Какой-то с улицы дурак, взяв одного осла, его

тельному отношению к ним традиционных критиков. Так, в *Энциклопедическом лексиконе* 1836 года (V: 194) сообщалось, что самец бекасов издает голос во время вывода и воспитания детей: го, го, го... кри, кри, кри, кри (последнее выражает "гнев между многими самцами вместе собравшимися"), – а во время преследования кричит, подобно карканью ворон, кваканью лягушек и "хрюканью свиньи – фру, фру, фру".

раскрасил так, что весь зеленый стал, а ноги голубые. Повел осла казать по улицам дурак... Смотреть зеленого осла / кипит народу без числа, и давка вокруг осла сказать нельзя какая... Больные про болезнь свою позабывали, когда зеленого осла им вспоминали... На третий день осла по улицам ведут – смотреть и с места не встают. Какую глупость ни затей, – поколь еще нова, чернь без ума от ней!”¹¹.

Вчера такого зеленого осла в квадрате видела петербургская публика в театре, где стоит бюст и где веет святою памятью Коммиссаржевской. Бред куриной души назывался трагедией в двух действиях... Наглое шарлатанство никого не дурачило, и публика, конечно, шла заведомо посмотреть рыцарей зеленого осла и лично убедиться, до какого предела может итти неостанавливаемая наглость. И видеть сценическую постановку галиматии несравнимо легче, чем прочитать три страницы футуристического альманаха (Измайлов 1913: 4).

В рецензии на выступления футуристов в Киеве в декабре 1914 года, озаглавленной уродливым псевдо-палиндромом *Ытсирутутф*, описывается сцена из сумасшедшего дома, где в воздухе висит рояль, на холстах разрисованы зеленые змеи и красные черти, вывешен большой портрет жирафа с надписью “футурист” и “портрет осла с надписью: ‘не-Маяковский’” (Каменский 1974: 110). Соответственно, в подписи к карикатуре на Маяковского, опубликованной в 1913 году в *Шуте*, приводится издевательский диалог в парикмахерской: “Тип. – Здесь ослов бреют?.. ПАРИКМАХЕР. – Пожалуйста присядьте” (см. **РУСУНОК 1**)¹².

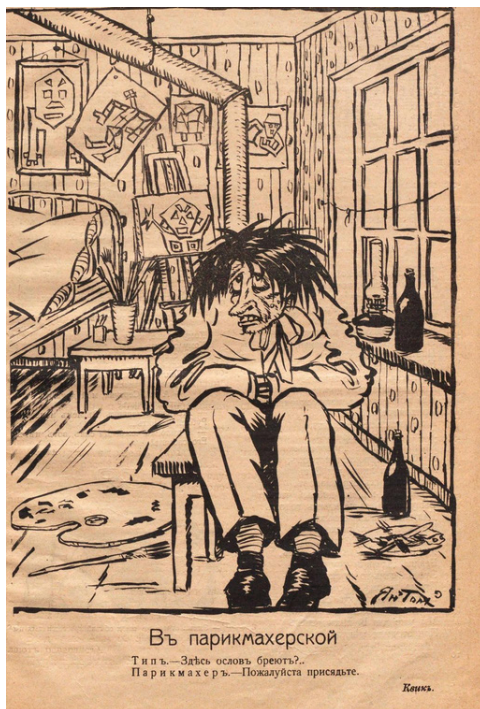
Ответом на этот рисунок с подписью, как мы полагаем, было известное стихотворение Маяковского *Ничего не понимают* (первая публ. под заглавием “Пробиваясь кулаками” в сборнике “Рыкающий Парнас” 1914 года)¹³. Думается, не будет преувели-

¹¹ На эту же басню ссылается в *Бесах* Петруша Верховенский: “Другое дело Кармазинов, тот вышел зеленым ослом и протащил свою статью целый час, – вот уж этот, без сомнения, со мной в заговоре! Дай, дескать, уж и я нагажу, чтобы повредить Юлии Михайловне!” (Достоевский 1993: 153).

¹² “Шут”, 1912, 52, с. 9 (карикатура Я. Тома).

¹³ Максим Шапир объяснял строку “Будьте добры, причешите мне уши” “характерным для раннего Маяковского самоотождествлением лирического героя с собакой” (Шапир 2015: 48). Между тем издевательская подпись к карикатуре в “Шуте” прямо указывает на “небритые” уши осла – традиционный образ для сатир и эпиграмм. Достаточно вспомнить пушкинскую эпиграмму *Ex ungue leonem* [“Недавно я стихами как-то свистнул...”, 1825], в которой “журнальный шут” узнается по ослиным ушам. По иронии судьбы, адресатом этой эпиграммы является однофамилец автора метившей в Маяковского статьи о “рыцарях зеленого осла” баснописец А. Измайлов (Вацуро 1986: 16-20; Проскурин 2000: 281-282). В основе эпиграммы лежит латинская пословица “*Ex ungue leonem, ex auribus asinum*” (в комментариях к стихотворению Пушкина обычно приводится только ее первая часть).

рисунок 1
В парикмахерской



личением сказать, что футуристическим Пегасом как в саморепрезентациях, так и в поруганиях футуристов был именно голосистый осел.

Так, в №45 журнала “Огонек” за 1913 год была опубликована карикатура, подписанная “Пьер-О.” (псевдоним С.В. Животовского), на которой изображался памятник Пушкину, окруженный толпой ‘пушкинианцев’, изгоняющих футуриста Давида Бурлюка в виде осла, на спине которого сидит обезьянка с надписью “Хлебников” (см. **РИСУНОК 2**). Карикатура сопровождалась подписью: “И я его лягну! Пускай ослиное копыто знает!” (неточная цитата из басни И.А. Крылова *Лисица и Осел*)¹⁴.

К тому же году относится и карикатура Зиги Валишевского *Илья Зданевич выступает перед ослиами* (среди последних выведены Маринетти, Ларионов, и Репин) (Зданевич 2021: 649).

¹⁴ “Огонек”, 1913, 45, с. 19 (упоминается в Молок 2000: 190).

рисунок 2
Лекция Бурлюка в Петербурге



В целом, футуристические вечера середины 1910-х годов неизменно воспринимаются современниками как 'ослиные концерты', антиэстетические и антирационалистические карнавалы, вовлекающие аудиторию в процесс веселого обсуждения нарушителей фонетического спокойствия: "В публику несутся обычные футуристические приветствия: – Ослы! Хамы!"¹⁵

Совершенно очевидно, что в историко-культурной перспективе характерный для модернистской эпохи мотив ослиного пения (в пьесе Зиновьевой-Аннибал поэт-осел представлен как спутник Диониса) восходит к описанному в *Так говорил Заратустра* Ницше средневековому 'празднику осла' (*festum asinorum*), травестиро-

¹⁵ Цит. по: *Газетные старости. Маяковский*. <http://starosti.ru/key_article.php?keyw ord=%CC%E0%FF%EA%E2%F1%EA%E8%E9&action=person> (дата доступа – 8 марта 2025 г.). К ослиной теме в критике футуристов относится и фельетон И. Накатова *Осел искусства* ("Московская газета", 1913, 244, 26 марта).

вавшему въезд Иисуса в Иерусалим¹⁶. В этом шутовском ритуале клирики и прихожане подражали возгласам вводимого в церковь осла (“Hinham, Hinham, Hinham”). “Крикогубый” (по определению Маяковского) учитель произносит в финале книги проповедь, навеянную веселым зрелищем:

“О мои новые друзья, – говорил он, – вы, странные, вы, высшие люди, как нравитесь вы мне теперь, –

– с тех пор как стали вы опять веселыми! Поистине, вы все расцвели: мне кажется, что таким цветам, как вы, нужны новые праздники,

– какая-нибудь маленькая смелая чепуха, какое-нибудь богослужение и праздник осла, какой-нибудь старый веселый дурень – Заратустра, вихрь, который дыханием своим надувает вам души.

Не забывайте этой ночи и этого праздника осла, вы, высшие люди! Это изобрели вы у меня, это принимаю я, как доброе знамение, – нечто подобное изобретают только выздоравливающие!

И если будете вы вновь праздновать этот праздник осла, делайте это из любви к себе, делайте также из любви ко мне: и в мое воспоминанье!”¹⁷

Отголоски этого кощунственно-карнавального действия, воспетого Ницше, слышатся и в приведенном выше фельетоне Измайлова о первом вечере “рыцарей зеленого осла”, и в знаменитой авангардистской выставке¹⁸, и в “ослино-икающей онома-топее (ю, ю, ю, фью)” в упомянутой выше “онолатрической” пенталогии Зданевича¹⁹.

¹⁶ Этот сюжет анализируется Ольгой Фрейденберг в статье о мифологическом значении въезда Иисуса на осле в Иерусалим, отождествляющем осла с Иисусом как умирающим и воскресающим божеством (Фрейденберг 1978: 491–531). Интерпретация обряда шествия на ослиати в Вербное воскресенье дается в классической работе (Живов, Успенский 1987).

¹⁷ Пер. Юрия Антоновского. Цит. по <<https://www.nietzsche.ru/works/main-works/zarathustra/antonovsky/?curPos=13>> (дата обращения – 8 марта 2025 г.). “В итоге, – комментировал этот исключенный российской цензурой фрагмент из книги Ницше, – все те “высшие люди”, которые стекаются в пещере Заратустры, сближаются между собою в отрицании; все это люди, отчаявшиеся в Боге и в современном человеке, выражением их общего настроения, служит обряд поклонения ослу, кощунственная пародия на богослужение, которую они все вместе совершают в пещере Заратустры” (Трубецкой 1904: 411).

¹⁸ По мнению Нины Гурьяновой, “нигилистическое неведение футуризма [...] восходит к теологической традиции ‘ученого незнания’ [...], точно так же, как и название одной из выставок апеллирует не только к недавнему скандалу в парижском Салоне, – но и намекает (опять же через посредство *Так говорил Заратустра* Ницше) на средневековый карнавальный по духу ‘Праздник Осла’ как одно из проявлений ‘ученого незнания’ в эстетической сфере” (Гурьянова 2000: 101).

¹⁹ Любвеобильный осел Ильязда кричит: “ю, ИА, РУР РУРАРА ХРУ ФЛЮ ФРЯ”.

Соблазнительно предположить, что к этой литургии отсылают и веселые выкрики в перформативном стихотворении Палаццески (“ihu ihu, ihu”, “A! E! I! O! U!”), предвосхищающем фонетические игры футуристов с ‘освобожденными’ гласными звуками²⁰:

Lasciate pure che si sbizzarrisca,
anzi è bene che non la finisca.
Il divertimento gli costerà caro,
gli daranno del somaro.

А я бы не мешал ему кривляться,
пусть корчит из себя паяца,
он в результате прослышет ослом –
и поделом.

5. *Альфа как Омега*

Вернемся к двум записям Розанова, представляющим собой, как мы полагаем, развитие темы ‘ослиного царства’ в его творчестве. Если в 1913 году писатель ехидно интерпретировал заумную кричалку футуристов как ‘хорошую’ замену либеральной рационалистической философии Спенсера, то в апреле 1916 года (почти одновременно с выставками футуристов, призывавших, как писал Маяковский, “писать войною”, и выходом *Трубы марсиан* Хлебникова и его единомышленников, в очередной раз “с негодованием” оттолкнувших от себя “порочный шепот людей прошлого, мечтающих уклонить нас в пятую”) Розанов издевательски переделывает те же стихи Палаццески в своего рода ‘партию осла’, озвучивающую полную деградацию требующей пальбы и корма (зрелищ и хлеба) литературы и отражающую окончательную деградацию современной российской интеллигенции²¹, ибо теперь самое “существо общества есть поле с овсом и лошадью”:

Иги, иги, иги.
Ого-ого-ого...
Тпру, тпру, тпру²².

²⁰ Пословам Ры Никоновой, “поэзия легатная, поющая [...] вплоть до поэзии из одних только гласных звуков” “вытекает” из стиха Альдо Палаццески “Aaaaa Eeeee Iiiiiii Ooooo Uyyyy AEI-OY” (Р. Никонова, *Кабаабстракции*, “Обводной канал”, 1987, XI. Цит. по: <<https://samizdat.wiki/images/d/de/%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%AB70-12-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B0%D0%B1%D0%B0-%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf>> (дата обращения – 9 марта 2025 г.).

²¹ В антисемитской литературе, восходящей к древнеримской пропаганде, указывалось, что евреи якобы поклоняются богу в виде осла. То же обвинение использовалось потом римлянам и по отношению к христианам (Лурье 1923: 26-27).

²² О.А. Лекманов любезно указал нам на переключку этого текста со скандальным кощунственным стихотворным ‘объявлением’ Николая Асеева 1915 года “Я запретил бы ‘Про-

Иначе говоря, в литературной мифологии Розанова, футуристический крик осла – это своего рода трубный глас, оповещающий о наступившем Апокалипсисе (“Чего ты дивишься, Розанов?” – парафраз из Откровения св. Иоанна Богослова (17: 3-8): “И сказал мне Ангел: ‘Что ты дивишься? я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов’”). В свою очередь, тайна зверя понимается писателем как регресс человечества к первобытной дикости – пародия на завет Господа “плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным [и всѣми скотами], пресмыкающимся по земле” (Быт. 1: 28).

Дескать, доплодились-таки до скотства и нечленораздельного рева, пакостники²³. “Чем началось – тем кончилось”.

6. Заключение

Но почему же фигуристы? *Последние листья* были впервые опубликованы Николюкиным по рукописи Государственного литературного музея (ф. 362. Оп. 1. Ед. хр. 25-47). Теоретически, конечно, возможно допустить, что футуристов Розанов назвал фигуристами в значении тупых здоровяков-пройдох (как в письме о ‘фигуристом’ прохвосте Капнисте от 1897 года) или каламбурно обыграл в этом наименовании один из любимых вульгарных жестов этой группы авангардистов – фигу (шиш). Но на самом деле публикатор просто ошибочно прочитал в рукописи ‘фигуристы’ вместо ‘футуристы’, которых ‘бьет’ в своей критике (к слову, рядом с евреями) писатель. Действительно, на наш запрос сотрудники Государственного литературного музея любезно подтвердили, что в интересующем нас слове в рукописи (ф. 362, оп. 1, ед. хр. 31, л. 2) “после буквы *ф* идет *у*, а характерное написание *ту*, которое можно спутать с *гу* или *чу*, встречается строкой выше в слове ‘литература’”²⁴.

Забавно, что та же самая ошибка встречается и в статье Осоргина о Маринетти и футуристах, опубликованной в 1914 году в “Вестнике Европы”: “Несомненно, из всех программ *фигуристов*, их политическая программа привлекает наибольшие симпатии шовинистских кругов” (Осоргин 1914: 353).

дажу овса и сена... / Ведь это пахнет убийством Отца и Сына?”. Из полемиического арсенала дореволюционной поэзии футуристов и критики их противников происходит и позднейшая сатира Ильфа и Петрова на советского авангардиста Феофана Мухина, разбрасывающего горстями овес по холсту: когда художник “перевозил на извозчике картину в музей, лошадь беспокойно оглядывалась и ржала”).

²³ Образ ‘ослиного царства’ встречается, например, в сатире Генриха Гейне *Ослы-избиратели*: “И так как осел я, то вам мой совет / Среди вислоухих героев / Осла непременно избрать в короли / Ослиное царство устрой” (пер. Дм. Минаева; цит. по Гейне 1904: 178).

²⁴ Электронное письмо от 12 марта 2025 года.

Если бы российские футуристы заметили эту опечатку, то наверняка пришли бы в восторг, ведь в фигуральном смысле она довольно точно описывает самые разные аспекты этого скользящего по плоскостям звучащего слова, образа и смысла весело гогочущего иконокластического литературного движения.

Сокращения

ЕДПН:	Ежемесячные литературные приложения к журналу "Нива" на 1902 год за сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь, Санкт-Петербург 1902.
ЗП:	<i>Западноевропейская поэзия XX века</i> , Москва 1977.
ЛИ:	<i>Литературные изгнанники: П.А. Флоренский, С.А. Рачинский, Ю.Н. Говоруха-Отрок, В.А. Мордвинова</i> , II, Санкт-Петербург 2001.
ЭС:	<i>Энциклопедический словарь</i> , XV, Санкт-Петербург 1895.

Литература

Афанасьев 1984:	А.Н. Афанасьев, <i>Народные русские сказки</i> , III, Москва, 1984.
Бенуа 1912:	А. Бенуа, <i>История живописи всех времен и народов</i> , III, Санкт-Петербург 1912.
Бенуа 1968:	<i>Александр Бенуа размышляет</i> , Москва 1968.
Богомолов 1993:	Н.А. Богомолов, <i>На грани быта и бытия: Л.Д. Зиновьева-Аннибал. Певучий осел</i> (публ.), "Театр", 1993, 5, с. 159-191.
Булгаков 1918:	С.Н. Булгаков, <i>На пиру богов (pro и contra). Современные диалоги</i> , Киев 1918.
Вацууро 1986:	В.Э. Вацууро, "Площадной шут" в пушкинской эпиграмме, "Русская речь", 1986, 3, с. 16-19.
Виноцкий 2009:	И. Виноцкий, <i>Крупюшки заумной поэзии</i> , "Russian Literature", LXV, 2009, с. 261-279.
Галанов 1974:	Б. Галанов, <i>Книжка про книжки</i> , Москва 1974.
Гейне 1904:	Г. Гейне, <i>Полное собрание сочинений</i> , VI, Санкт-Петербург 1904.
Гурьянова 2000:	Н. Гурьянова, <i>Эстетика анархии в теории раннего русского авангарда</i> , в: <i>Поэзия и живопись. Сборник трудов памяти Н.И. Харджиева</i> , Москва 2000, с. 92-108.

- Дейч 1914: А. Дейч, *Во стане разногласных. Очерки о футуризме в поэзии*, “Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения ‘Нивы’”, 1914, I, с. 107-130.
- Достоевский 1993: Ф.М. Достоевский, *Бесы. Роман в трех частях*, II, Москва 1993.
- Живов, Успенский 1987: В.М. Живов, Б.А. Успенский, *Царь и Бог. Семиотические аспекты сакрализации монарха в России*, в: *Языки культуры и проблема переводимости*, Москва 1987, с. 47-53.
- Зданевич 2021: И. Зданевич (Ильязд), *Дом на говне. Доклады и выступления в Париже и Берлине. 1921-1926*, Москва 2021.
- Зданевич 2014: И. Зданевич, *Футуризм и всечество. 1912-1914*, II, Москва 2014.
- Измайлов 1913: А. Измайлов, *Рыцари зеленого осла. (Первый вечер футуристов)*, “Биржевые Ведомости”, 1913, 3 (16), декабря, с. 4-5.
- Каменский 1974: Василий Каменский, *Жизнь с Маяковским*, München 1974.
- Крусанов 1996: А.В. Крусанов, *Русский авангард: Боевое десятилетие*, Москва 1996.
- Лурье 1923: С.Я. Лурье, *Антисемитизм в древнем мире*, Берлин-Петербург-Москва 1923.
- Львов-Рогачевский 1913: В. Львов-Рогачевский, *Без темы и без героя. (Литература за 1912 год)*, “Современный мир”, 1913, I, с. 95-121.
- Молок 2000: Ю.А. Молок, *Пушкин в 1937 году: материалы и исследования по иконографии*, Москва 2000.
- Орлицкий 2020: Ю.Б. Орлицкий, *Стихосложение новейшей русской поэзии*, Москва 2020.
- Осоргин 1913: М. Осоргин, *Очерки современной Италии*. Москва 1913.
- Осоргин 1914: М. Осоргин, *Итальянский футуризм. (Письмо из Рима)*, “Вестник Европы”, XLIX, 1914, 2, с. 339-358.
- Осоргин 2022: М. Осоргин, *Очерки современной Италии*, предисловие и комментарии А. Ямпольской, Москва 2022.
- Поляков 1998: В.В. Поляков, *Книги русского кубофутуризма*, Москва 1998.
- Проскурин 2000: О. Проскурин, *Литературные скандалы пушкинской эпохи*, Москва 2000.
- Редько 1924: А.М. Редько, *Литературно-художественные искания в конце XIX-начале XX в.в.*, Ленинград 1924.
- Розанов 1994-2010: В.В. Розанов, *Собрание сочинений в 30 тт*, Москва-Санкт-Петербург 1994-2010.
- Сапрыкина 2010: Е.Ю. Сапрыкина, *Футуризм и авангардная культура Италии*, в: *Авангард в культуре XX века: 1900-1930 гг.: теория, история, поэтика*, I, Москва 2010, с. 360-412.

- Трубецкой 1904: Е.Н. Трубецкой, *Философия Ницше: критический очерк*, Москва 1904.
- Фрейденоберг 1978: О. Фрейденоберг, *Везд в Иерусалим на осле (из евангельской мифологии)*, в: *Миф и литература древности*, Москва 1978, с. 623-665.
- Шапир 2015: М. Шапир, *Universum versus. Язык – стих – смысл в русской поэзии XVIII-XX веков*, II, Москва 2015.
- Mazzoni 2022: G. Mazzoni, *On Modern Poetry*, transl. by Z. Hanafi, Cambridge 2022.
- Palazzeschi 1910: A. Palazzeschi, *L'incendiario: col rapporto sulla vittoria futurista di Trieste*, Milano 1910.
- Tamburri 1990: A.J. Tamburri, *Of Saltimbanchi and Incendiari. Aldo Palazzeschi and Avant-Gardism in Italy*, London-Toronto 1990.

Abstract

Ilya Vinitsky

The Donkey's Song: Aldo Palazzeschi's Canzonetta Let Me Have My Fun (1910) in the History and Mythology of Russian (Anti-)Futurism

Parodies, caricatures, mockery, and scathing remarks by critics often serve as provocative invitations to explore the reception and interpretation of literary experiments within their respective cultural contexts. This kind of literary interpretation “by means of contradiction” might be termed boo-criticism. This article examines a vivid example of such criticism, introducing a characteristic mythopoetic figure that emerged from the heated literary polemics of the 1910s. Taking as its point of departure Vasilij Rozanov’s panic-stricken critique of contemporary literature as a ‘kingdom of donkeys’ – a vision that arguably echoes Aldo Palazzeschi’s transrational stanza in *Let Me Have My Fun!* – the article traces the motif’s origins in Nietzsche and its elaboration in the Russian avant-garde (Kručnych, Gončarova, Majakovskij, Zdanevič).

Keywords

Vasilij Rozanov; Aldo Palazzeschi; Russian Futurism; Transrational Poetry; the Donkey Motif in Modernist Literature; ‘Boo-criticism’.

Margarita Dimitrova

Nonstandard wh-Questions. Focusing on Bulgarian wh-*li* Questions*

1. Introduction

The syntax of interrogative sentences has always been attractive for generative linguists. Wh-questions have been subject to extensive discussions which capitalised on the syntactic operations involved in their licensing, namely *wh-movement*, *auxiliary (verb)-movement*, *subject-verb inversion*, *operator-variable relation*. Importantly, the crosslinguistic comparison has shown that the variation languages display may be associated, on the one hand, with general properties of natural languages (e.g. V-to-T and T-to-C movement; overt *vs.* covert movement) and, on the other, with discourse-related factors, such as the relation to the speaker's background knowledge and evaluations.

The expression of speaker-related properties is particularly evident when it comes to the so called *nonstandard* (Obenauer 2004, 2006) or *non-pure* (Ambar 2003) wh-questions. Many works have been dedicated to a better understanding of these structures and their syntactic expression (Ambar 2003; Ambar, Veloso 2001; Cheng, Rooryck 2000; Obenauer 2004, 2006, a.o.), focusing on the functional projections codifying the different non-canonical meanings. Building on data from the North-Eastern Italian dialect Pagotto, Obenauer (2004, 2006) distinguishes between three types of nonstandard wh-questions, namely (i) *cannot-find-the-value-for-x questions*; (ii) *rhetorical questions*, and (iii) *surprise-disapproval questions*, as in (1)-(3), respectively:

- (1) Andé l'à- tu catà?
 where cl have-cl found
 "Where (the hell) did you find it?" (Obenauer 2004: 367)

- (2) Cossa à-lo fat par ti?
 what has-cl done for you
 "What has he done for you?" (Obenauer 2004: 361)

* This work is financed by national funds through FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., under the project UIDB/00022/2020. DOI: 10.54499/UIDB/00022/2020. I thank the anonymous reviewers for their insightful comments and suggestions which greatly helped improve the quality of this paper.

- (3) Cossa sé-tu drîo magnar?!
 what are-cl behind eat
 “What on earth are you eating?!” (Obenauer 2004: 348)

Cannot-find-the-value-for-x questions in (1) imply that the speaker is unable to find a plausible value for the variable of the question. In *rhetorical questions*, like (2), on the other hand, the speaker is not requesting information regarding the value of the variable, this information being conveyed by the question itself. Lastly, *surprise-disapproval questions*, as in (3), express the speaker’s kind of attitude and evaluation towards the proposition. Importantly, Obenauer (2004, 2006) argues that the speaker-related properties characterising the structures in (1)–(3) are a result of syntactic mechanisms, namely wh-movement to higher projections of the Left Periphery.

Building on these brief observations on nonstandard wh-questions in Pagotto, this paper examines nonstandard wh-questions in Bulgarian, focusing on the properties of wh-questions in which the particle *li* occurs¹. We dub such structures wh-*li* questions. Observe the example in (4) below:

- (4) Kakvo li kupi Ivan?
 What Q bought.3p.sg. John
 “What might John have bought?”

¹ One of the reviewers notes that Bulgarian displays other types of nonstandard wh-questions, like Wh-*the-hell* questions, as in (i), or wh questions in which *li* co-occurs with the particle *păk*, as in (ii):

- (i) Kakvo po djavolite tăršiš tuk?
 What the hell look for.2p.sg here
 “What the hell are you looking for here?”
 (ii) Kakvo li păk iska sega?
 What Q păk want.3p.sg now
 “What the hell does he/she want now? (I wonder)”

The structures in (i) and (ii) differ from wh-*li* questions in several aspects concerning an additional negative presupposition triggered by the occurrence of the modifier *po djavolite* “the hell” and the particle *păk*. The occurrence of the particle *păk* moreover produces a rhetorical effect in structures like (ii). Nevertheless, even though *păk* co-occurs with *li* in wh-*li* questions, it also appears in standard wh-questions without *li*:

- (iii) Kakvo păk iska sega?
 What păk want.3p.sg now
 “What the hell does he/she want now?”

We are unable to discuss the properties of such structures here. Instead, we will focus on non-canonical wh-*li* questions.

Crucially, as opposed to standard *wh*-questions, the occurrence of *li* in (4) conveys a flavour of wondering and doubt, captured under the possibility modal *might*. Therefore, the occurrence of the particle in *wh*-questions has been associated with the expression of the speaker's inability to find a value for the variable of the question (Dimitrova 2020), much as in Obenauer's *cannot-find-the-value-for-x* questions.

This, however, is not the entire story. The distribution of *li* is more complex given that the particle is also responsible for the licensing of Bulgarian yes-no questions (Izvorski 1995; Rudin *et al.* 1999; Dukova, Zheleva 2010; Dimitrova 2020; Krapova 2021, a.o.), as illustrated in (5) below:

- (5) Ivan kupi li knigata?
 John bought.3p.sg. Q book.def
 "Did John buy the book?"

The characterisation of *li* as the licenser of yes-no questions is moreover supported by the example in (6). Note that, in the absence of *li*, the structure loses its true interrogative meaning and acquires a confirmation-like reading:

- (6) Ivan kupi knigata?
 John bought.3p.sg. book.def.
 "John bought the book?"

The structure without *li* in (6) resembles what has been defined as a *Declarative Question* in Gunlogson (2001). According to this author, the declarative SVO order in English polar questions contributes to the expression of the speaker's high degree of commitment to the truth of the proposition. Rudin and Rudin (2022) further discuss structures like (6), dubbed *Rising declaratives*, comparing data from Bulgarian and Macedonian. While rising declaratives in Bulgarian convey a wide range of meanings, such as surprise or disapproval, in Macedonian such structures are neutral, information-seeking yes-no questions. Following Rudin 2018, Rudin and Rudin (2022) suggest that, in languages like Bulgarian and English, rising intonation functions as an illocutionary operator codifying the speaker's expectations in the affirmative answer of the question.

Considering these facts about the distribution of *li* in Bulgarian interrogatives, an intriguing asymmetry with respect to the occurrence of the particle in polar and *wh*-questions can be noticed. Contrarily to polar questions which lose their interrogative meaning in the absence of *li*, *wh*-questions' licensing does not depend on the occurrence of the particle. Rather, the occurrence of the particle is the mechanism triggering the characteristic wondering flavour.

Based on the properties of nonstandard *wh*-questions in Romance languages, on the one hand, and the distribution of the interrogative particle *li* in Bulgarian questions, on the other, our goal in the present work is twofold: (i) firstly, we discuss the asymmetries related to the particle's occurrence in yes-no and *wh*-questions and (ii) in view of (i), we dis-

cuss the properties and syntactic expression of *wh-li* questions, comparing with data from Romance. The paper is organised as follows. In § 2, we review some of the previous works dedicated to the syntactic expression of nonstandard *wh*-questions. In § 3, we examine the distribution and properties of the particle *li* focusing on its occurrence in yes-no and *wh*-questions. In § 4, we discuss the relationship between the distribution of elements like Bulgarian *li* and the properties of the domain of quantification, and put forth a proposal for analysis of Bulgarian nonstandard *wh-li* questions. § 5 concludes the paper.

2. The Syntax of Nonstandard *wh*-Questions

As mentioned above, nonstandard *wh*-questions are particularly intriguing when it comes to the syntactic mechanisms underlying their diverse readings. Considering the data from Pagotto in (1)–(3) above, Obenauer (2004, 2006) argues that nonstandard *wh*-questions have a syntax of their own which involves *wh*-movement to higher positions of the Left Periphery (Rizzi 1997, Cinque 1999, Ambar 2003, a.o.). As pointed out by this author, a closer look at the properties of Pagotto nonstandard *wh*-questions shows that they sharply differ from standard *wh*-questions in several aspects concerning their syntactic expression. One such aspect is the position of the *wh*-constituent. In standard *wh*-questions, *wh*-constituents, like *andé* ‘where’, occur *in-situ*. In the nonstandard *cannot-find-the-value-for-x* questions, on the other hand, the *wh*-constituent *andé* ‘where’ obligatorily raises to a preverbal position, as shown in (7) and (8), respectively:

- (7) L' à- tu catà andé?
 cl have-cl found where
 “Where did you find it?”

- (8) Andé l' à- tu catà?
 where cl have-cl found
 “Where (the hell) did you find it?” (Obenauer 2004: 367)

The nonstandard interrogative in (8) denotes that the speaker “is unable to come up with a (plausible, acceptable) value, though he has tried to find one (or more)” (Obenauer 2006: 367). By virtue of the contrasts between (7) and (8), Obenauer (2004, 2006) suggests that *wh*-movement to a given projection of the Left Periphery is the syntactic mechanism triggering the nonstandard meaning in (8).

Wh-fronting is however not the only strategy for codifying non-canonical readings. Another intriguing aspect of the licensing of nonstandard *wh*-questions concerns the alternation between the *wh*-constituents *cossa* ‘what’ and *che* ‘what’. As discussed in previous works (Munaro, Obenauer 1999), *cossa* ‘what’ always occurs sentence-initially contributing to the expression of the speaker’s attitude and evaluations, as shown in (9). *Che* ‘what’, on the other hand, is reserved for standard *wh*-questions and occupies an *in-situ* position, as shown in (10):

- (9) *Cossa sé-tu drio magnar?*
 what are-cl.2p.sg behind eat
 “What on earth are you eating?!”
- (10) *Sé-tu drio magnar che?*
 are-cl.2p.sg behind eat what
 “What are you eating?” (Obenauer 2004: 348–349)

In view of these facts about the syntactic mechanisms responsible for the licensing of nonstandard *wh*-questions in Pagotto, Obenauer (2004, 2006) proposes that nonstandard questions involve *wh*-raising to dedicated positions of the Left Periphery, namely to the specifiers of *cfvP* (*Cannot-find-the value questions*), *SurprP* (*Surprise-disapproval questions*) and *RhetP* (*Rhetorical questions*). As mentioned in the previous section, the properties of *cannot-find-the-value-for-x questions* are particularly important when it comes to a comparison with Bulgarian *wh-li* questions given that both structures are characterised by the denotation of wondering and doubt. As pointed out in Obenauer (2004), by virtue of this property, Pagotto *cannot-find-the-value-for-x questions* further resemble *Wh-the-hell* questions (Pesetsky 1987, den Dikken, Giannakidou 2002). As the author observes, in both interrogatives “the speaker has already checked the domain and, in case he came upon a possible value, rejected it as inadequate” (Obenauer 2004: 369).

The existence of a domain of possible values for the variable of the question has been a topic of many discussions. Ever since Hamblin (1973) and Karttunen (1977), it has been assumed that *wh*-questions denote sets of alternatives. When it comes to structures like (9) above, Obenauer (2004) points out that, in contrast to standard *wh*-questions, in *cannot-find-the-value-for-x questions* the domain is “anchored to the speaker” (Obenauer 2004, fn. 35), i.e., it does not include the entire domain but only a specific part of it, reason why *cannot-find-the-value-for-x questions* are considered speaker-oriented. In a similar vein, den Dikken and Giannakidou (2002) suggest that *Wh-the-hell* questions involve the semantic mechanism *domain extension*. In their terms, the modifier *the-hell* extends the domain so that it includes new or unknown alternatives. We come back to this question in § 4.

More observations on the syntactic properties of nonstandard *wh*-questions come from European Portuguese (henceforth, EP). Ambar (2003) dubs such structures *non-pure questions* and distinguishes between *full echo* *wh*-questions and *echo-flavour* *wh*-questions. According to this author, while *full echo* questions, like English *wh-in-situ* questions, lack any interrogative interpretation, *echo flavour* *wh*-questions “lack a full-blown interrogative interpretation though not all properties (contrarily to full echo, they are still questions).” (Ambar 2003: 225).

When it comes to the syntactic expression of EP *non-pure wh-questions*, one important aspect of their characterisation concerns the presence *vs.* absence of subject-verb inversion. It is well-known that languages like EP (though not Brazilian Portuguese; Kato, Raposo 1996) and French, display obligatory subject-verb inversion in root *wh*-question

(Ambar 1988). Nevertheless, as noted in Ambar 1985, 1988 and 2003 the absence of subject-verb inversion in root wh-questions somehow triggers the expression of *echo-flavour*:

- (11) a. *Que livro* / ?quem / **que* o Pedro viu?
 b. *Quel livre* / ?qui / **que* Pierre a vu?
 Which book / who / what Peter saw (Ambar 2003: 228)

Importantly, as illustrated by (11), the lack of subject-verb inversion is restricted to wh-phrases with a phonetically realised N, like *que livro* or *quel livre* ‘which book’ in (11a) and (11b), respectively. Observe that the barest wh-phrase *que* ‘what’ is ruled out in (11). Wh-phrases like *quem* or *qui* ‘who’, on the other hand, are only marginally accepted. Ambar (1985, 1988) argues that the grammaticality of non-inverted wh-questions depends on the internal structure of the wh-constituents and their referential properties: “the more the wh-phrase is restricted, the more the non-inverted wh-question is grammatical” (Ambar 2003: 229).

The lack of subject-verb inversion is not the only strategy for the expression of non-standard or non-pure readings, though. Similarly to what has been observed on Pagotto, the position of the wh-constituent, and particularly the wh-*in situ* position, also triggers the expression of speaker-related properties, like the existence of previous knowledge and presuppositions. In fact, the relation between Romance wh-*in situ* questions and the speaker’s background knowledge has been subject to many debates (Ambar 2003; Cheng, Rooryck 2000; Etxepare, Uribe-Etxebarria 2005, a.o.). Based on data from EP, Ambar *et al.* (1998) defend that wh-*in situ* questions involve a strong presupposition context which prevents their occurrence with negative answers². The oddness of the negative answer in (12) is related to the existence of a stronger presupposition given by Common Ground:

- (12) a. O João comprou o quê?
 John bought what
 b. ?? Nada
 Nothing (Ambar 2003: 219)

As for the syntactic licensing of these properties, Ambar (2003) argues that their syntactic expression involves functional projections of the Left Periphery codifying the speaker’s previous knowledge:

- (13) XP [Evaluative [Assertive [XP [Wh [Focus [XP [TP

² Cheng and Rooryck (2000) make the same observation with regard to French wh-*in situ*. Considering that French wh-*in situ* questions display raising intonation, as in yes-no questions, Cheng and Rooryck (2000) argue that their syntactic expression involves the insertion of an underspecified intonational morpheme [Q:] responsible for the valuation of the Q feature in CP.

In (13), the highest projections EvaluativeP and AssertiveP are “the speaker’s projections”. EvaluativeP accounts for the speaker’s evaluations and kind of attitude. AssertiveP, on the other hand, encodes ‘what the speaker knows’ (Grimshaw 1977), i.e. background knowledge and presuppositions. Focused and topicalised constituents are situated below: while topics (labelled XPs in [13]) can project multiple times, focus projects only once. In view of (13), Ambar (2003) proposes that, like standard *wh*-questions, the derivation of *wh-in-situ* questions involves *wh*-movement to Spec, WhP. Nevertheless, *wh-in-situ* questions further display Remnant IP movement to Spec, AssertiveP, the domain accounting for the speaker’s knowledge and presuppositions, much as in Munaro *et al.* 2001 on Bel-lunese *wh-in-situ* questions. According to Ambar (2003), *wh-in-situ* questions have the [+assertive] feature checked via Remnant IP movement.

The proposal in (13) further accounts for data from other languages displaying different strategies for the activation of Assertive. In contrast to EP, languages like Hungarian disallow *wh-in-situ* questions, but rather merge the complementiser *hogy* ‘that’:

- (14) **Hogy** mennyi pénzt fizettem ki ezért a háért?
 That how_much money_ACC paid. 1p.sg PART this_for art house:for
 (Ambar 2003: 224)

The structure in (14) with *hogy* consists in a confirmation-like question which is not a true request for information. In view of the analysis in (13) above, Ambar (2003) suggests that the complementiser *hogy* checks the [+assertive] feature via External Merge.

The crosslinguistic variation with respect to the licensing of the nonstandard *wh*-questions is an intricate matter. In Ambar’s terms, the divergences between languages like EP, allowing for *wh-in-situ*, and Hungarian, which disallows *wh-in-situ*, are related to the properties of the verbal inflection. Assuming that the derivation of *wh-in-situ* questions involves Remnant IP movement to Spec, AssertiveP, the behaviour of languages like Hungarian is accounted accordingly: as the verbal inflection is too heavy, it cannot undergo Remnant IP movement, the result being the ban on *wh-in-situ*. The syntactic expression of nonstandard *wh*-questions in languages like Hungarian is therefore confined to the insertion of elements like the complementiser *hogy*. As will be shown in § 3, Bulgarian appears to pattern like Hungarian: it disallows *wh-in-situ* (probably for reasons related to the properties of verbal inflection) and, therefore, relies on other strategies, like the insertion of *li*.

3. *The Distribution of the Particle li in Bulgarian Interrogatives*

In § 1, we showed that, in addition to appearing in Bulgarian nonstandard *wh*-questions, the particle *li* is essential for the licensing of Bulgarian yes-no questions:

- (15) Ivan kupi li knjigata?
 John bought.3p.sg. Q book.def
 “Did John buy the book?”

- (16) Ivan kupi knigata?
 John bought.3p.sg. book.def.
 “John bought the book?”

In view of the contrast between (15) and (16), Dimitrova (2020) argues that the occurrence of *li* in yes-no questions is crucial for the codification of polarity features (Holmberg 2012, 2016). Nevertheless, the distribution of the particle is more complex, particularly when it comes to the type of constituent it incorporates with. Typically, *li* occupies a position that follows the verb, as shown in (15) above. However, it can also occur in a position following an element XP different from verb, as in (17):

- (17) Knigata li kupi Ivan?
 Book.def Q bought John
 “Did John buy THE BOOK³?”

Structures like (17) have been traditionally considered *focus* yes-no questions: the particle *li* assigns focus features to the constituent XP it follows (Izvorski 1995, Rudin *et al.* 1999, Dukova-Želeva 2010, Dimitrova 2020, a.o.). Note that, in contrast to neutral yes-no questions, focus questions are not about the truth of the proposition, or the alternatives [p, ¬p], but rather about the validity of the XP *li* follows. What is more, focus yes-no questions obey two important restrictions: (i) the focused constituent always occurs in a pre-verbal position and (ii) the subject-verb inversion is obligatory:

- (18) a. Knigata li kupi Ivan?
 Book.def Q bought John
 b. *Ivan kupi knigata li?⁴
 John bought book.def Q
 c. *Knigata li Ivan kupi?
 Book.def Q John bought.3p.sg
 Intended: “Did John buy THE BOOK?”

Curiously, as will be shown in the next section, the conditions in (i) and (ii) also apply to Bulgarian *wh*-questions.

Many works have been dedicated to a better understanding of the structural position occupied by the particle *li* (Rudin 1986, Rudin *et al.* 1999, Dukova-Želeva 2010, Dimitrova 2020, Krapova 2021, a.o.). As mentioned above, Dimitrova (2020) argues that the occur-

³ Focus is marked by capital letters throughout the paper. Nevertheless, as pointed out by one of the reviewers, structures like (17) can be interpreted as interrogative clefts “Is it the book that John bought?”

⁴ The question in (18b) is plausible whenever associated with a confirmation-like reading such as “John bought the book, right?”. Limitations of space preclude the discussion of this type of questions here.

(19) [TopP İvani [Top° [IntP [Intr° kupij lik [PolP [Pol° ~~kupij~~ lik
John *bought* Q
 [TP İvani [T° kupij [VP İvani kupij knigata]]]]]]]]]]
the book

Focus yes-no questions, on the other hand, pose a problem for this analysis. Note that even if we assume that *li* is merged in Pol and attaches to the XP in Spec, PolP via some kind of affixation, the analysis presented in (19) fails to account for the obligatory subject-verb inversion in focus yes-no questions. Considering these data, Dimitrova (2020) proposes that *li* is a head and a maximal projection⁶. In focus yes-no questions, *li* merges in Spec, PolP:

- (20) [IntP knigata_j lik [Int° kupi_i [PolP knigata_j lik [Pol° kupi_i [TP Ivan_h [T° kupi_i]]]]]]
the book Q bought John
 [VP Ivan_h kupi_i knigata_j]]]]]]]]]

In our view, the proposal in (20) successfully accounts for the main facts about focus yes-no questions. Moreover, this analysis further explains the obligatory adjacency between the focus XP and the verb, predicting that no intervening material is allowed:

- (21) a. ??Knigata li včera kupi?
Book.def Q yesterday bought.3p.sg
b. Včera knigata li kupi?
Yesterday book.def Q bought.3p.sg

⁵ Note that topicalization of the subject is not mandatory. As illustrated in (i), the subject *Ivan* can occur post-verbally as well:

(i) Kupi li Ivan knigata?
Bought Q John book.def.
“Did John buy the book?”

Under the analysis in (19), in structures like (i), the subject *Ivan* remains in Spec,TP.

⁶ Under this analysis, the particle is regarded as a head and a maximal projection. Note that this is not a new idea especially when considering the nature of pronominal clitics which behave as both x^0 and xP (Kayne 1991; Dobrovie, Sorin 1994; Chomsky 1994).

- c. Knigata li kupi včera?
 Book.def Q bought yesterday
 “Did he/she buy THE BOOK yesterday?” / “Was it the book what he/she bought yesterday?”

As mentioned above, following Holmberg (2012, 2016), Dimitrova (2020) regards *li* as a polarity particle. As a result of this property, the occurrence of *li* is crucial for the creation of the alternatives $[v, \neg v]$, in the case of unmarked yes-no questions, and $[XP, \neg XP]$ in focus yes-no questions. In the present work, we follow Dimitrova 2020 in assuming that the particle *li* displays a relation to the denotation of polarity and merges in Pol.

With these observations on the distribution of *li* in yes-no questions, we now turn to its occurrence in wh-questions. Before discussing the properties of nonstandard wh-*li* questions, some observations on the syntax of Bulgarian wh-questions are in order. As mentioned above, wh-constituents pattern with focused constituents with respect to the conditions in (i) and (ii) above: (i) like the focused constituent, wh-phrases are obligatorily fronted, and (ii) like focus yes-no questions, wh-questions display obligatory subject-verb inversion. Observe the examples in (22) below:

- (22) a. Kakvo kupi Ivan?
 What bought.3p.sg John
 “What did John buy?”
 b. *Ivan kupi kakvo?
 John bought.3p.sg. what
 c. *Kakvo Ivan kupi?
 What John bought.3p.sg

The parallels between focus phrases and wh-phrases are well-known. In fact, it has been argued that wh-phrases are inherently focused and undergo focus movement⁷ (Horvath 1986, Bošković 1999, 2002, 2007, a.o.). Therefore, when it comes to the occurrence of *li* in wh-questions, these structures have traditionally been regarded as another case in which *li* assigns focus to an XP different from the verb (Rudin 1986). Nevertheless, a closer look at the data and the properties of wh-*li* questions suggests that it is not focus what we are dealing with here. Observe again the example in (4) above, repeated below for convenience:

- (23) Kakvo li kupi Ivan?
 What Q bought.3p.sg. John
 “What might John have bought?”

⁷ Discussing data from multiple wh-fronting languages, Bošković (2002, 2007) argues that in multiple wh-questions displaying Superiority effects, the highest wh-phrase moves to Spec, CP for reasons related to clause-typing, while the other wh-phrases undergo movement to a lower Focus position.

Differently from focus polar questions, structures like (23) denote the speaker's wondering and doubt with respect to the value of the *wh*-phrase. Like Obenauer's *cannot-find-the-value-for-x* questions, the structure in (23) represents the speaker's inability to find a plausible value for the variable. This aspect of *wh-li* questions' characterisation is further supported by data from the answering system. As opposed to standard *wh*-questions in (24), *wh-li* questions in (25) seem odd with negative answers:

(24) Q: Koj kupi knjiga?
Who bought.3p.sg. book.def
"Who bought the book?"

A: Nikoj.
"No one".

(25) Q: Koj li kupi knjiga?
Who Q bought.3p.sg book.def
"Who bought the book? (I wonder)"

A: ?? Nikoj.
"No one".

As discussed above, the incompatibility with negative answers is also observed in Romance *wh-in-situ* questions and has been considered an outcome of the presupposition context these structures involve (Ambar *et al.* 1998; Ambar 2003 on EP; Cheng, Rooryck 2000 on French, a.o.). The data in (25) suggests that Bulgarian *wh-li* questions pattern with Romance *wh-in-situ* questions as far as the existence of background knowledge is concerned.

Let us now take a look at the position occupied by the particle in *wh*-questions. Importantly, as opposed to polar questions, in which *li* follows the verb or an element XP different from the verb, in *wh*-questions, it is restricted to occur in a position following the *wh*-constituent. Observe that the incorporation of *li* into the verb (26a) or into XPs different from the verb (26b) results in ungrammatical sentences:

(26) a. *Kakvo kupi li Marija?
What bought.3p.sg Q Mary
b. *Kakvo kupi Marija li?
What bought Mary Q

In our view, the distribution of the particle in *wh*-questions and the ungrammaticality of the structures in (26) are not coincidental. The fact that the only plausible host for the particle is the *wh*-word is rather an outcome of a given relation to quantification and the existence of a set of alternatives (Hamblin 1973, Karttunen 1977). What is more, the data illustrating the distribution of *li* give rise to many questions concerning the properties of the particle and the divergent behaviours it displays when occurring in yes-no and

wh-questions. As shown above, *li* is the licenser of yes-no questions. In its absence, these structures take on a confirmation reading, i.e. although they are still questions and request information from the addressee, the speaker expects an affirmative answer, as demonstrated in Rudin, Rudin 2022. The opposite behaviour is found in wh-questions. Standard wh-questions, without *li*, consist in simple requests for information; that is, the occurrence of the particle does not contribute for the interrogative meaning of the structure. Instead, when *li* attaches to the wh-constituent, it conveys speaker-related properties, like wondering and doubt.

These asymmetries with respect to the occurrence of *li* and the readings it conveys to each structure can be further captured under the features [$\pm$ interrogative] and [$\pm$ presupposition]:

- (i) In yes-no questions, the occurrence of the particle *li* gives rise to [+interrogative] and [-presupposition]. Its absence, on the other hand, leads to [+interrogative] and [+presupposition]: even though they are still requests for information, questions without *li* carry a special pragmatic import related to the speaker's belief in the positive value of the question.
- (ii) In wh-questions, by contrast, the occurrence of the particle results in a presupposed structure denoting [+interrogative] and [+presupposition]: non-canonical wh-*li* questions are still requests for information, but they also denote the discourse-values, like the speaker's wondering. Standard wh-questions, without *li*, are marked as [+interrogative] and [-presupposition].

The asymmetries in (i) and (ii) above are further systematised by the table below:

Table 1

	+ <i>li</i>	- <i>li</i>
YES-NO QUESTIONS	[+Interrogative] [-Presupposition]	[+ Interrogative] [+Presupposition]
WH-QUESTIONS	[+Interrogative] [+Presupposition]	[+Interrogative] [-Presupposition]

The contrasts illustrated by TABLE 1 are an intriguing matter which, as far as we know, has not been subject to much research. Our suspicion is that the asymmetries concerning the occurrence of *li* are related to the denotation of sets of alternative propositions (Hamblin 1973, Karttunen 1977). In yes-no questions, the role *li* plays is related to the identification of the set of alternative propositions $[p, \neg p]$, by virtue of polarity features assignment, as suggested in Dimitrova (2020). In wh-questions, on the other hand, the occurrence of *li* does not seem to be related to the denotation of sets of alternative propositions. Rather, *li* establishes a given relation with the set of alternatives already present in the domain.

4. *Towards an Analysis*

4.1. *The Quantifier Particles* (Szabolcsi 2015)

The idea that the distribution of particles, like Bulgarian *li*, may be a result of the sensibility to quantification and to the existence of sets of alternatives has been extensively discussed in Szabolcsi (2015) who focuses on the behaviour of a group of elements dubbed *Quantifier Particles*. As noted by this author, “the same particles that form quantifier words also serve as connectives, additive and scalar particles, question markers, roots of existential verbs, and so on” (Szabolcsi 2015: 159).

For instance, Japanese *ka* (Miyagawa 2010) is an interrogative sentence-final particle occurring in yes-no and *wh*-questions. Nevertheless, as noticed in Szabolcsi (2015), *ka* also takes part of the denotation of existential quantification (27a) and disjunction (27b):

- (27) a. dare-ka – “someone”
 b. A-ka-B-(ka) – “A or B”
 c. dare-ga v...-ka – “Who vs”
 d. s-ka – “whether s” (adapted from Szabolcsi 2015: 160)

Focusing on the behaviour of Quantifier particles, like Japanese *ka*, Szabolcsi (2015) argues that their occurrence in the structure indicates that a given constituent is a part of a larger set of presuppositions by introducing the operation *join* ($\cup$)⁸. This is the case of *wh*-words, existential quantifiers, and disjunctions, which denote a set of alternatives representing the speaker’s information regarding the elements available in the discourse, as shown in (28a) below. In yes-no questions, on the other hand, the occurrence of the quantifier particle indicates the formation of the alternatives $[p, \neg p]$, or $[Joe \text{ dances}]$ and $[\neg Joe \text{ dances}]$, as shown in (28b):

- (28) a. Who dances?, Someone dances, Kate or Mary or Joe dances
 $[[Kate \text{ dances}]] \cup [[Mary \text{ dances}]] \cup [[Joe \text{ dances}]]$
 b. whether Joe dances
 $[[Joe \text{ dances}]] \cup [[\neg Joe \text{ dances}]]$ (Szabolcsi 2015: 163)

Szabolcsi’s (2015) insights partially explain the behaviour of Bulgarian *li*. Note that *li* patterns to a large extent with the behaviour of the Japanese particle *ka*: besides being the element that licenses yes-no questions and that occurs, somehow optionally, in *wh*-questions, *li* also takes part of the morphological make-up of the disjunction *ili* ‘or’, which incorporates the conjunction *i* ‘and’ and the interrogative particle *li*:

- (29) Marija ili Ivan
 Mary or John

⁸ Szabolcsi (2015) uses the algebraic operations *join* ($\cup$) and *meet* ($\cap$) when addressing the properties of the different types of Quantifier particles. In her view, particles like Japanese *ka* denote lattice-theoretic *join* ($\cup$).

These aspects of the distribution of Bulgarian *li* may suggest that, like Japanese *ka*, it belongs to the group the Quantifier particles. Nevertheless, a problem for this assumption comes from yes-no questions and from the behaviour of the answering system. Szabolcsi (2015: 189) points out that not all question particles are Quantifier particles of the type of Japanese *ka*. A crucial aspect of their characterisation concerns the formation of alternatives. In Szabolcsi's terms, quantifier particles occurring in yes-no questions contribute to the formation of disjunctions in the sense of alternative questions, whereas question particles merely indicate the existence of a question operator. These observations are supported by data from Hungarian. Hungarian yes-no questions can be licensed by either rising intonation (30a) or the interrogative morpheme *-e* (30b)⁹:

- (30) a. Táncolt Mari? "Did Mary dance?"
 b. Táncolt-e Mari? "Did Mary dance-*KA*?" (adapted from Szabolcsi 2015: 190)

As pointed out in Szabolcsi 2015, the crucial distinction between the questions in (30a) and (30b) concerns the denotation of disjunctions. In her terms, important evidence regarding this aspect comes from the answering system: while structures like (30a) can be answered by a simple "yes" or a nod, answers to questions with the morpheme *-e* in (30b) require echoing the finite verb. In addition, Szabolcsi (2015) observes that structures like (30b) convey a particular "cornering effect" which is not displayed in yes-no questions without *-e*. In Biezma 2009 the term "cornering effect" is discussed from the perspective of the properties of alternative yes-no questions, which force an answer from the addressee, the result being the "cornering" of the addressee.

As discussed above, in contrast to Hungarian *-e*, *li* is crucial for the licensing of yes-no questions. In its absence, the structure acquires a confirmation-like flavour. The examples in (31), illustrating the behaviour of the answering system, further show that, unlike Hungarian, Bulgarian *li*-questions are compatible with both "yes" and "no" answers and answers echoing the verb:

- (31) Q: Ivan kupi li knigata?
 John bought.3p.sg. Q book.def
 "Did John buy the book?"
 A: a. Da.
 "Yes".
 b. Ne.
 "No".
 c. Kupi ja.
 Bought.3p.sg. it

⁹ Russian patterns with Hungarian with respect to the formation of yes-no questions and displays yes-no questions with rising intonation and yes-no questions with the interrogative particle *li*. In Szabolcsi's terms Russian *li*, like Hungarian *-e*, is a Quantifier particle.

What is more, Bulgarian *li*-questions do not display the “cornering effect” noticed in their Hungarian counterparts. Such an effect is rather be available in structures like (32) below, where *li* cooccurs with the disjunction *ili* ‘or’:

- (32) Q: Ivan kupi li knigata ili ne?
 John bought.3p.sg. Q book.def or not
 “Did John buy the book or not?”
- A: a. # Da.
 “Yes”.
 b. Kupi ja.
 Bought.3p.sg it
 c. Ne.
 “No”.

Note that, in contrast to (31) above, the alternative question in (32) is incompatible with a simple “yes”.

In light of the above, it is not entirely clear whether Bulgarian *li* is a Quantifier particle. Yet, the data discussed in this section, along with the intriguing parallels between *li* and Japanese *ka*, indeed suggest that the distribution of *li* in Bulgarian interrogatives and its role in the morphological make up of disjunctive conjunctions like *ili* ‘or’ are guided by properties related to quantification and the denotation of a set of alternatives.

4.2. Nonstandard *wh*-Questions and the Syntax-Semantics Interface

Considering the observations on the properties of Bulgarian *li* and the relation to quantification it displays, we now come back to the case of Bulgarian nonstandard *wh-li* questions, focusing on the role of the particle in these structures.

As mentioned in § 2, *wh-li* questions can be classified as *cannot-find-the-value-for-x questions*, which in Obenauer’s terms (2004) express that the speaker is unable to find a plausible value for the question, even though he has already checked the domain. As a result of this property, such structures are unable to occur ‘out of the blue’ and display an incompatibility with negative answers.

Importantly, according to Obenauer (2004), *cannot-find-the-value-for-x questions* differ from standard *wh*-questions as far as the properties of the domain of quantification are concerned. Differently from standard *wh*-questions, in which the domain is not limited in any way, the domain of *cannot-find-the-value-for-x questions* is ‘anchored’ to the speaker: as noted by Obenauer, such nonstandard questions are “speaker-oriented”, i.e. the domain is not any domain but the one considered appropriate by the speaker (Obenauer 2004: fn. 35).

When it comes to the properties of the domain of quantification in nonstandard *wh*-questions, den Dikken and Giannakidou (2002) further discuss the properties of *wh*-questions displaying the modifiers *the hell* or *on earth*. According to the authors, “when attached to a *wh*-word, the modifier *the-hell*, we argue, extends the domain of quantifica-

- (33) [IntP kakvo_i lik [Int° kupi_i [PolP kakvo_j lik [Pol° kupi_j [TP Ivan_h [T° kupi_j
the book Q bought John
[VP Ivan_h kupi_j kakvo_j]]]]]]]]]

Our goal in this paper was to shed some light on the properties of nonstandard wh-questions building on data from Bulgarian. In contrast to Romance, Bulgarian non-standard wh-questions display an overt element, the particle *li*. Considering the distribution of the particle, we showed that it occurs in both yes-no and wh-questions presenting

some intriguing asymmetries with respect to the codification of different pragmatic values. Focusing on *wh*-questions, we argued that the occurrence of the particle triggers the characteristic wondering flavour associated with the expression of the speaker's inability to find a value for the variable of the question. Considering the patterns between *wh-li* questions and interrogatives, like Obenauer's *cannot-find-the-value-for-x* questions or *wh-the-hell* questions, we suggested that the occurrence of the particle *li* is related to the properties of the domain of quantification and the denotation of sets of alternatives, triggering semantic mechanisms like *domain extension* (den Dikken, Giannakidou 2002; Zanuttini, Portner 2003). What is more, we proposed that, in contrast to standard *wh*-questions, the properties of nonstandard interrogatives, like Bulgarian *wh-li* questions, are encoded in higher functional projections accounting for the speaker's previous knowledge.

Literature

- Ambar 1985: M. Ambar, *Sobre a Estrutura dos Constituintes Interrogativos*, "Actas do I Encontro da Associação Portuguesa de Linguística. APL", 1985, pp. 247-262.
- Ambar 1988: M. Ambar, *Para uma Sintaxe da Inversão Sujeito-Verbo em Português*, PhD dissertation, University of Lisbon 1988.
- Ambar 2003: M. Ambar, *Wh-Asymmetries*, in: A.M. Di Sciullo (ed.), *Asymmetry in Grammar*, Amsterdam 2003, pp. 208-249.
- Ambar, Veloso 2001: M. Ambar, R. Veloso, *On the Nature of Wh-Phrases – Word Order and Wh-in-situ*, in: Y. Hulst, J. Rooryck, J. Schroten (eds.), *Romance Languages and Linguistic Theory 1999*, Amsterdam 2001, pp. 1-37.
- Bošković 1999: Ž. Bošković, *On Multiple Feature-Checking: Multiple Wh-Fronting and Multiple Head Movement*, in: S. Epstein, N. Hornstein (eds.), *Working Minimalism 1999*, Cambridge (MA) 1999, pp. 159-187.
- Bošković 2002: Ž. Bošković, *On Multiple Wh-Fronting*. "Linguistic Inquiry", XXXIII, 2002, 3, pp. 351-383.
- Bošković 2007: Ž. Bošković, *A Note on Wh-Typology*, in: P. Kosta, L. Schürcks (eds.), *Linguistic Investigations into Formal Description of Slavic Linguistics. Contributions of the Sixth European Conference held at Potsdam University*, Frankfurt am Main 2007, pp. 159-170.
- Cheng, Rooryck 2000: L. Cheng, J. Rooryck, *Licensing Wh-in-situ*, "Syntax", 2000, 3, pp. 1-19.
- Chomsky 1994: N. Chomsky, *Bare Phrase Structure*, in: G. Webelbuth (ed.), *Government and Binding Theory and the Minimalist Program*, Oxford 1994, pp. 383-439.

- Cinque 1999: G. Cinque, *Adverbs and Functional Heads: a Cross-Linguistic Perspective*, New York 1999.
- den Dikken, Giannakidou 2002: M. den Dikken, A. Giannakidou, *From Hell to Polarity: Aggressively non-D-Linked Wh-Phrases as Polarity Items*, "Linguistic Inquiry", XXXIII, 2002, pp. 31-61.
- Dimitrova 2020: M. Dimitrova *On the Syntax of Yes-No Questions in Bulgarian and Portuguese*, PhD dissertation, University of Lisbon 2020.
- Dobrovic-Sorin 1994: C. Dobrovic-Sorin, *The Syntax of Romanian*, Berlin 1994.
- Dukova-Zheleva 2010: G. Dukova-Zheleva, *Questions and Focus in Bulgarian*, PhD dissertation, University of Ottawa 2010.
- Etxepare, Uribe-Etxebarria 2005: R. Etxepare, M. Uribe-Etxebarria, *In-situ Wh-Phrases in Spanish: Locality and Quantification*, "Recherches Linguistiques de Vincenne", XXXIII, 2005, pp. 9-34.
- Grimshaw 1977: J. Grimshaw, *English Wh-Constructions and the Theory of Grammar*, PhD dissertation, University of Massachusetts 1977.
- Gunlogson 2002: C. Gunlogson, *Declarative Questions*, "Proceedings of Semantics and Linguistics Theory", XII, 2002, pp. 144-163.
- Hamblin 1973: C. Hamblin, *Questions in Montague English*. "Foundations of Language", x, 1973, pp. 41-53.
- Holmberg 2012: A. Holmberg, *On the Syntax of Yes and No in English*, "Newcastle Working Papers in Linguistics", XVIII, 2012, pp. 52-72.
- Holmberg 2016: A. Holmberg, *The Syntax of Yes and No*, Oxford 2016.
- Horvath 1986: J. Horvath. *Focus in the Theory of Grammar and the Syntax of Hungarian*, Dordrecht 1986.
- Izvorski 1995: R. Izvorski, *Wh-Movement and Focus Movement in Bulgarian*, in: R. Eckardt, V. van Geenhoven (eds.), *Proceedings of the Second Conference of the Student Organization of Linguistics in Europe*, The Hague 1995, pp. 54-67.
- Karttunen 1977: L. Karttunen, *Syntax and Semantics of Questions*, "Linguistics and Philosophy", I, 1977, pp. 3-44.
- Kato, Raposo 1996: M. Kato, E. Raposo, *European and Brazilian Portuguese Word Order: Questions, Focus and Topic Constructions*, in: C. Parodi, C. Quicoli, M. Saltarelli, M.L. Zubizarreta (eds.), *Aspects of Romance Linguistics. Selected Papers from the LSRL XXVI*, Washington 1996, pp. 267-278.
- Kayne 1991: R. Kayne, *Romance Clitics, Verb Movement and PRO*. "Linguistic Inquiry", XXII, 1991, 4, pp. 647-686.

- Krapova 2021: I. Krapova, *Complementizers and Particles Inside and Outside of the Left Periphery: The case of Bulgarian Revisited*, in: B. Wiemer, B. Sonnenhauser (eds.), *Clausal Complementation in South Slavic*, Berlin-Boston 2021, pp. 211-269.
- Munaro, Obenauer 1999: N. Munaro, H-G. Obenauer, *On Underspecified Wh-Elements in Pseudo-Interrogatives*, "University of Venice Working Papers in Linguistics", XII, 1999, pp. 181-253.
- Munaro et al. 2001: N. Munaro, C. Poletto, J-Y. Pollock, *Eppur si Muove: On Comparing French and Bellunese Wh-Movement*, "Linguistic Variation Yearbook", I, 2001, 1, pp. 147-180.
- Obenauer 2004: H-G. Obenauer, *Nonstandard Wh-Questions and Alternative Checkers in Pagotto*, in: H. Lohnstein, S. Trissler (eds.), *Syntax and Semantics of the Left Periphery, Interface Explorations*, Berlin-New York 2004, pp. 343-383.
- Obenauer 2006: H-G. Obenauer, *Special Interrogatives – Left Periphery, Wh-Doubling, and (Apparently) Optional Elements*, in: J. Doetjes, P. Gonzalves (eds.), *Romance Languages and Linguistic Theory 2004 - Selected Papers from 'Going Romance 2004'*, Amsterdam 2004, pp. 247-273.
- Pesetsky 1987: D. Pesetsky, *Wh-in-situ: Movement and Unselective Binding*, in: E. Reuland, A. ter Meulen (eds.), *The Representation of (In)definiteness*, Cambridge (MA) 1987, pp. 98-129.
- Rizzi 1997: L. Rizzi, *The Fine Structure of the Left Periphery*, in: L. Haegeman (ed.), *Elements of Grammar. Handbook of Generative Syntax*, Dordrecht 1997, pp. 281-337.
- Rudin 1986: C. Rudin, *Aspects of Bulgarian Syntax: Complementizers & Wh Constructions*, Bloomington 1986.
- Rudin et al. 1999: C. Rudin, C. Kramer, L. Billings, M. Baerman, *Macedonian and Bulgarian li Questions: Beyond Syntax*, "Natural language and Linguistic Theory", XVII, 1999, pp. 541-586.
- Rudin, Rudin 2022: C. Rudin, D. Rudin, *On Rising Intonation in Balkan Slavic*, "Journal of Slavic Linguistics", XXX, 2022, pp. 1-10.
- Szabolcsi 2015: A. Szabolcsi, *What Do Quantifier Particles Do?*, "Linguistics and Philosophy", XXVIII, 2015, pp. 159-204.
- Zanuttini, Portner 2003: R. Zanuttini, P. Portner, *Exclamative Clauses: at the Syntax-Semantics Interface*, "Language", LXXIX, 2003, pp. 39-81.

Abstract

Margarita Dimitrova

Nonstandard wh-Questions: Focusing on Bulgarian wh-li Questions

This paper examines nonstandard *wh*-questions in Bulgarian, with a focus on *wh-li* constructions, in which the *wh*-constituent co-occurs with the interrogative particle *li*. The distribution of *li* in Bulgarian interrogatives has been widely discussed, as its behavior in yes-no and *wh*-questions reveals intriguing asymmetries. While in *wh*-questions *li* conveys a strong sense of wondering or doubt, in yes-no questions the particle is crucial to the interrogative interpretation – its absence yielding a presuppositional reading. In light of these contrasts, we propose that particles like *li* are related to quantification and the presence of alternative sets. Based on this property, we argue that the appearance of *li* in *wh*-questions triggers semantic mechanisms such as domain extension. Additionally, drawing on prior analyses of non-canonical questions in Romance languages, we suggest that the licensing of nonstandard *wh-li* questions involves structurally higher projections within the Left Periphery.

Keywords

Nonstandard *wh*-Questions; Particle *li*; Presupposition; Syntax.

Francesca Biagini
Lucyna Gebert

Gli equivalenti russi delle perifrasi verbali a valore aspettuale in italiano

1. Introduzione

In questo contributo¹ viene analizzata, sulla base dei dati tratti dal corpus parallelo russo-italiano del NKJRJ², la controparte russa di alcune perifrasi italiane a valore aspettuale ((*in*)cominciare/iniziare *a*, continuare *a*, cercare/tentare *di*), con l'obiettivo di verificare in quali casi le forme perifrastiche italiane presentino come equivalenti in russo forme verbali semplici. Prima di descrivere il materiale raccolto, vengono presentati i presupposti teorici sui quali si basa l'analisi (§2). Successivamente vengono esaminate le corrispondenze tra le perifrasi in italiano e dapprima i verbi atelici in russo (§3) poi quelli telici (§4). Infine vengono tratte alcune conclusioni (§5).

2. Premessa teorica

Un approccio ai fenomeni aspettuativi affermato da tempo adotta la classificazione lessicale dei verbi proposta da Vendler (1967) nel suo importante studio dedicato alla semantica dei verbi inglesi, applicato e adattato successivamente ad altre lingue.

Come noto, Vendler distingue quattro classi semantiche fondamentali: *states*, *activities*, *accomplishments* e *achievements* che codificano quattro tipi diversi di situazioni. Tuttavia, a livello molto generale, dal punto di vista del loro comportamento nei confronti dell'aspetto verbale slavo, esse possono essere suddivise in due gruppi secondo il criterio di telicità: da una parte i verbi telici (*accomplishments* e *achievements*), dall'altra i verbi atelici (*states* e *activities*)³. I telici sono riferiti alle situazioni finalizzate al raggiungimento di una meta, mentre gli atelici esprimono delle situazioni che possono essere sia stative (*states*) sia dinamiche (*activities*) ma inerentemente continuative e omogenee in quanto non producono nessun risultato.

¹ Il lavoro nasce dalla stretta collaborazione tra le due autrici, i cui nomi sono riportati in ordine alfabetico. A fini accademici, i §§ 1, 2 e 4 sono da attribuire a Lucyna Gebert e i §§ 3 e 5 sono da attribuire a Francesca Biagini.

² <www.ruscorpora.ru> (ultimo accesso: 06.12.24). Fanno eccezione gli esempi (1)-(2) che sono tratti dalla parte monolingue del Corpus Nazionale della Lingua russa e le cui traduzioni italiane sono nostre.

³ Il termine 'telico/atelico' fu introdotto da Garey (1957) e successivamente rilanciato da B. Comrie (1976: 44).

In russo, per descrivere un fatto verificatosi nel passato con un verbo telico di *accomplishment* o di *achievement* viene usata la forma perfettiva:

- (1) a. *Vdrug, v mae 2003 goda, v Leninskom Pensionnom fonde kto-to rešil-P, čto eti vyplaty nezakonny* (NKRJA).
 ‘Improvvisamente, a Maggio 2003, nel Fondo Pensionistico Leninista, qualcuno **decise** che quei pagamenti erano illegali’.
- b. *Kupil-P telefon ej na den’ roždenija, v marte* (NKRJA).
 ‘Le **ho comprato** il telefono per il suo compleanno, a marzo’.
- c. *Kollegi vybrali-P menja kapitanom* (NKRJA).
 ‘I colleghi scelsero me come capitano’.

Invece, una situazione conclusasi nel passato, veicolata da un verbo atelico (*states e activities*), viene espressa normalmente dalla forma imperfettiva⁴:

- (2) a. *Samolët byl počti celikom sdelan iz dereva i vsë že vesil-I bol’še 5 tonn.*
 ‘L’aeroplano era quasi interamente costruito in legno e tuttavia **pesava** più di 5 tonnellate’.
- b. *Na schodke v Krasnojarske prisutstvoval-I gubernator kraja Aleksandr Lebed’.*
 ‘All’incontro di Krasnojarsk **era presente** il governatore della regione Aleksandr Lebed’.
- c. *God nazad ja ne znala-I čto takoe ėpistemologija.*
 ‘Un anno fa non **sapevo** che cosa fosse l’epistemologia’.
- d. *Vy rabotali-I segodnja? – sprosila Valja. – Bezdel’ničal-I. – A vychodili-I iz doma? Guljali-I? – Nemnogo.*
 ‘Oggi **ha lavorato?** – chiese Valja. – **Sono stato senza fare niente** – Ed è uscito di casa? È andato a fare un giro? – Due passi’ (NKRJA).

Di conseguenza, per descrivere un evento verificatosi nel passato i verbi russi manifestano un comportamento aspettuale distinto a seconda del gruppo di appartenenza: il perfettivo è la forma ‘naturale’, basica, dei telici, mentre la forma ‘naturale’ degli atelici è quella imperfettiva (cfr. ad es. Gebert 1991, 2009, 2014). Utilizzando la terminologia della teoria dei prototipi (Rosch 1973)⁵, i perfettivi passati vengono considerati come forme prototipiche dei telici, mentre gli imperfettivi come forme prototipiche degli atelici (cfr. Andersen, Shirai 1996). Le forme imperfettive dei verbi telici, così come le forme perfettive dei verbi atelici costituiscono invece i membri periferici delle rispettive categorie.

Questo fenomeno è legato al valore semantico dei due aspetti; infatti, il significato di compiutezza attribuito al perfettivo consiste nell’esprimere un cambiamento che pro-

⁴ Infatti questi verbi non hanno un corrispondente perfettivo se non incoativo, delimitativo o perdurativo in certi casi. Si tratta di perfettivi solo morfologici e non semantici. Alcuni verbi di attività dispongono anche di forme perfettive semelfattive (cfr. ad esempio Gebert 1991).

⁵ Secondo Rosch (1973) ogni categoria è composta da membri prototipici centrali e da membri marginali, periferici.

duce uno stato risultante. Tale composizione semantica è presente soltanto nei verbi telici, quelli atelici invece, privi del concetto di cambiamento nel loro significato, quando riferiti a situazioni concluse nel passato, utilizzano l'imperfettivo associato alle varie declinazioni del valore stativo. L'imperfettivo è la forma utilizzata per esprimere valori apparentemente distinti quali l'evento in corso nei verbi dinamici (*accomplishments* e *activities*), quello iterativo e infine anche quello dell'evento compiuto dei verbi atelici, tutti riconducibili a un valore generale di STATO che giustifica la scelta della stessa forma imperfettiva (per un'argomentazione più approfondita cfr. Gebert 1995).

La frase che segue illustra bene questa differenza di comportamento aspettuale dei due verbi utilizzati, legata al diverso status ontologico delle due situazioni che si susseguono: il primo, *sidet'*, appare all'imperfettivo perché atelico, mentre il secondo, *slomat'*, è perfettivo perché telico.

- (3) *Kto sidel-I na moëm malen'kom stol'čike i slomal-P ego?*
(Tolstoj, *Tri Medvedja*, cit. da Padučeva 2009: 390)
'Chi si è seduto al mio tavolino e lo ha rotto?'⁶

La semantica verbale determina dunque la scelta grammaticale aspettuale. Il fatto che i verbi di ciascuna delle due categorie, telici e atelici, utilizzino al passato aspetti opposti come loro forme naturali e prototipiche, mette in evidenza i limiti dell'approccio tradizionale all'aspetto slavo, basato sull'idea che le coppie aspettuuali abbiano carattere simmetrico⁷.

L'obiettivo di questo lavoro è mostrare come, in base ai dati ottenuti dal corpus parallelo, le perifrasi italiane contenenti i verbi fasali (*in*)*cominciare/iniziare a, continuare a* e conativi *cercare/tentare di*⁸, quando non rappresentano il corrispettivo di una perifrasi fasale in russo, spesso corrispondono a forme aspettuuali periferiche russe⁹, mentre le forme aspettuuali naturali presentano più di frequente come equivalenti traduttivi dei verbi semplici¹⁰. Inizialmente all'interno dei testi del corpus sono stati raccolti i primi 55 esempi bidirezionali in cui occorre ciascuna delle perifrasi aspettuuali italiane in esame (*[in]cominciare/*

⁶ Ringraziamo V. Plungjan per averci indicato l'inesattezza della citazione di Padučeva, il testo di L. Tolstoj è infatti: "*Kto sidel na moëm stule i slomal ego?*"; 'Chi si è seduto sulla mia sedia e l'ha rotta?'.

⁷ Si osservi però che Maslov già nel lontano 1948 si era accorto che i verbi atelici costituiscono gli *imperfectiva tantum*.

⁸ Le perifrasi *cercare/tentare di*, che hanno un valore conativo, in questo lavoro sono state trattate insieme alla classe dei verbi fasali in quanto riferite a una fase precedente a quella iniziale della situazione descritta.

⁹ Tuttavia si confronti il par 3,3 dove si tratta *continuare a* con atelici in corrispondenza delle forme prototipiche che esprimono la durata.

¹⁰ Tra le forme perifrastiche non è stata considerata quella progressiva (*stare + gerundio*), che spesso corrisponde all'imperfettivo russo dei verbi, trattata in parte insieme a *stare per + infinito* in Biagini 2023.

iniziare a, continuare a, e cercare/tentare di) a fronte di forme verbali semplici in russo, mentre la perifrasi *stare per* viene trattata solo marginalmente in quanto già oggetto di studio in Biagini 2023. Come si vedrà, le stesse forme aspettuali nella loro accezione periferica assumono valori diversi a seconda della classe lessicale d'appartenenza dei rispettivi verbi e in funzione del contesto¹¹ e, di conseguenza, vengono rese con perifrasi differenti.

3. *Le perifrasi italiane corrispondenti ai verbi atelici russi*

Come mostrato nell'esempio (2), la scelta aspettuale naturale per i verbi atelici è l'imperfettivo, prototipico per i verbi di stato e di attività, poiché esprimono situazioni omogenee nelle quali non avviene nessun cambiamento.

Naturalmente i verbi atelici possono formare anche dei perfettivi, ma questo richiede l'introduzione del concetto di cambiamento nel loro significato, che conferisce un valore aggiuntivo al lessema verbale. È quindi significativo il fatto che, secondo i dati del corpus parallelo, le forme perfettive dei verbi atelici presentano spesso come forme corrispondenti in italiano non dei verbi semplici, ma delle perifrasi a valore aspettuale che rendono dunque esplicito quel valore aggiuntivo dovuto all'introduzione del concetto di cambiamento nel significato dei verbi che ne sono privi nella loro accezione prototipica.

3.1. *I verbi stativi*

Per questa classe lessicale l'aggiunta del cambiamento può solo aver luogo all'inizio della situazione descritta ed esprimere l'instaurarsi dello stato, risultando nel valore incoativo (es. 4 e 5). In questo caso in russo si tratta di una scelta aspettuale marcata che, tra l'altro, non è disponibile per tutti i verbi stativi in maniera sistematica; si pensi ad esempio ai verbi *zaviset'*, *vesit'*, *stoiť*, *imet'*, *obladat'* che non formano perfettivi.

In italiano l'introduzione di un elemento semantico aggiuntivo può essere segnalata nei rispettivi equivalenti dei verbi russi con la perifrasi *cominciare a*¹², mentre l'es. (5) con il testo di partenza italiano contenente *cominciare a* offre una controprova di tale equivalenza, visto che nella traduzione russa viene usata la forma incoativa *uvidet'*:

- (4) *Viktoru vdrug očēn' ponravilas' -P miniatjurnost' Svety* (A. Kurkov, *Zákon ulitki*, 2005).
D'un tratto a Viktor cominciò a piacere molto che Sveta fosse tutta in miniatura (A. Kurkov, *I Pinguini non vanno in vacanza*, B. Osimo).

¹¹ Un quadro articolato di questo sistema è stato proposto da Gebert (1991 e successivi).

¹² In altri esempi il cambiamento espresso dal perfettivo *ponravit'sja* viene reso in italiano con forme lessicali quali *fece piacere*, *andò a genio*, *si compiacque*. Nel caso di *uvidet'* invece non ci sono altri esempi con *in/cominciare*, ma si può ipotizzare che il valore incoativo in italiano sia espresso già dal passato remoto, se, come afferma Bertinetto (1991: 58), il valore ingressivo (Bertinetto usa questo termine invece di 'incoativo') riguarda i perfetti (passato remoto e passato prossimo), in contrapposizione alle altre forme di passato. Nell'esempio (5) l'uso di *cominciare* è dettato anche dalla natura dello spazio visto (uno specchio iniziale rispetto alle grandi dimensioni del cielo).

- (5) Davanti agli occhi avevo solo grano, ma quando **ho cominciato a vedere** uno spicchio di cielo ho capito che mancava poco, che la cima era là (N. Ammaniti, *Io non ho paura*, 2001). *Prjamo pered glazami tol'ko pšenica, i, kogda glaza uvideli-P kusoček neba, ja ponjal-P, čto ostalos' vsego ničego, čto veršina vot ona, rjedom* (N. Ammaniti, *Ja ne bojus'*, V. Nikolaev).

Lo stesso meccanismo opera quando i verbi stativi (quindi privi del valore agentivo, diversamente dai verbi atelici di attività) sono all'imperativo che, come noto, esprime un incitamento all'azione. Questo comporta sia un'aggiunta del concetto di cambiamento, sia una più attiva partecipazione del soggetto invitato a causare tale cambiamento. Il russo lo risolve sempre con l'ausilio dei perfettivi incoativi dei verbi (es. 6, 7, 8). Infatti, uno dei fattori che favoriscono il carattere agentivo del soggetto è proprio l'aspetto perfettivo, come dimostrato da Hopper e Thompson (1980) nel loro importante articolo *Transitivity in grammar and discourse*¹³. In italiano, invece, questo tipo di costruzioni imperative vengono tradotte con la perifrasi *cercare di* che attiva esplicitamente il valore incoativo del verbo stativo e, rispetto alle perifrasi con *cominciare a*, esprime un coinvolgimento più fortemente agentivo del soggetto nella situazione¹⁴. Nel corpus sono stati trovati esempi con i verbi *ponjat'*, *vspomnit'*, *zabyt'* e *uznat'*, ne citiamo alcuni:

- (6) *Kogda Marusja uličala ego v novych izmenach, opravdyvalsja: – Pojmi-P, mne kak artistu nužen impul's...* (Sergej Dvlatov, *Inostranka*, 1986).
Ogni volta che Marusja smascherava un nuovo tradimento, lui si giustificava: – **Cerca di capire**, in quanto artista ho bisogno di stimoli... (S. Dvlatov, *Straniera*, L. Salmon).
- (7) Quando tu, ieri sera, sei andato dal tabaccaio, non sei per caso passato davanti a quel giornale murale? **Cerca di ricordarti** (G. Guareschi, *Mondo Piccolo*, 1948-1953).
Ty vot, kogda chodil včera v tabačnuju lavku za sigaroj, ne prochodil li, slučae, mimo etoj gazety? Vspomni-P, požalujsta (G. Guareschi, *Malen'kij mir dona Kamillo*, E. Moločkovskaja).
- (8) *Uznaj-P podrobno, gde on, kto pri nëm* (L. Tolstoj, *Anna Karenina*, 1873-1877).
Cerca di sapere dettagliatamente dove si trova, chi lo cura (L. Tolstoj, *Anna Karenina*, M.B. Luporini).

Gli imperativi imperfettivi degli stativi, invece, sono molto rari nelle lingue, proprio per la mancanza dell'elemento di agentività nel loro significato, che rappresenta un componente indispensabile dell'imperativo. Tuttavia, in (9) è presente l'imperativo imperfettivo del verbo stativo russo *dumat'* che in alcuni casi viene reso in italiano con la perifrasi agentiva *cercare di*. Ciò dipende dal fatto che il verbo *dumat'* ha la tendenza a 'scivolare' verso

¹³ Una delle prove è costituita dal fatto che in diverse lingue del mondo le costruzioni ergative (che marcano a livello grammaticale il ruolo dell'agente) richiedono l'aspetto perfettivo.

¹⁴ Come evidenziato nella nota 8 per il verbo *ponravit'sja*, anche per *uznat'* sono stati trovati casi in cui in italiano il cambiamento viene reso a livello lessicale, ad esempio con *informati e va a vedere*.

un significato più agentivo che lo accomuna ai verbi di attività. Questo si verifica anche in italiano, infatti *pensare* può apparire nella forma progressiva *star pensando*, normalmente preclusa ai ‘veri’ stativi.

- (9) – *Èto moja bolezň. Možeť byt' èto projdět... – A ty ne dumaj-I...* (L. Tolstoj, *Anna Karenina*, 1873-1877).
 – Questa è la malattia, forse passerà... – Ma **cerca di non pensare** (L. Tolstoj, *Anna Karenina*, M. B. Luporini).

3.2. I verbi di attività

Quanto alle forme periferiche dei verbi di attività – che denotano, come gli stati, situazioni omogenee, ma, diversamente dagli stati, dinamiche – anche in questo caso, l’aggiunta del concetto di cambiamento segnala l’instaurarsi dell’attività, producendo il valore incoativo: *zagovorit'*, *zapet'*, *zadrožat'*, *zakašljat'*, ecc. Gli esempi di questo tipo sono i più frequenti tra le forme corrispondenti alle locuzioni italiane (*in*)/*cominciare/iniziare a*.

- (10) *I zaigral-P na ètoj lire s povyšennym, zamet'te, diapazonom* (S. Dovlatov, *Filial*, 1987).
 E **cominciò a suonare** questa lira, noti bene, col diapason più elevato (S. Dovlatov, *La filiale*, L. Salmon).

Diversi verbi di attività inoltre dispongono di perfettivi semelfattivi (*odnokratnye*) che si riferiscono all’atto singolo di ‘verbare’, il quale, ripetuto, diventa verbo di attività: *šagnut'* vs *šagat'*, *drognut'* vs *drožat'*. Tecnicamente tale atto minimo, potrebbe anche essere il primo tra quelli che compongono un’attività (*šagnut'* – fare un passo, *šagat'* – camminare; *stuknut'* – dare un colpo, *stučat'* – bussare; *kriknut'* – emettere un grido, *kričat'* – gridare; ecc.). Infatti, alcuni di questi verbi formano anche gli incoativi espliciti, come *zakričat'*, *zastučat'*, che in determinati contesti possono apparire come sinonimi dei semelfattivi: *kriknut'*, *stuknut'*. Per questo motivo, anche i semelfattivi a volte vengono resi dalla perifrasi *cominciare a*, come negli es. (11) e (12).

- (11) *A my poprobuem! I Brežnev uverenno šagnul-P na travu* (S. Dovlatov, *Inostranka*, 1986).
 Ma noi ci proveremo! E Brežnev, deciso, **cominciò a camminare** sull'erba (S. Dovlatov, *Straniera*, L. Salmon).
- (12) *David zametil, čto v verchnej časti steny, za kvadratnoj metalličeskoj setkoj, ševal'nulos'-P čto-to živoje, emu pokazalos', seraja krysa, no David ponjal, – zavertelsja ventiljator* (V. Grossman, *Žizn' i sud'ba*, 1960).
 Si accorse che nella parte alta di una parete, dietro una retina di metallo, **aveva cominciato a muoversi** qualcosa di vivo che gli sembrò un topo grigio, ma capì che era il moto di un ventilatore (V. Grossman, *Vita e destino*, C. Bongiorno).

Si osservi tuttavia che le forme aspettuale considerate periferiche, non naturali, tanto per i verbi di attività quanto per quelli stativi, non sono regolari e la loro derivazione non è sistematica.

Come nel caso degli stativi anche questi verbi atelici, quando sono all'imperativo perfettivo con valore semelfattivo-incoativo, presentano nei corrispettivi italiani la perifrasi *cercare di*:

- (13) – *Poslušajte, bud'te mužčinov! Nu, čot' ulybnites'-P!* (A. Čechov, *Rasskazy*, 1885-1903).
Ascoltate, siate un uomo, via, se non altro **cercate di sorridere** (A. Čechov, *Racconti*, F. Malcovati).

Per quanto riguarda gli imperativi imperfettivi dei verbi di attività, al contrario degli imperativi imperfettivi degli stativi, sono possibili grazie al significato agentivo che li caratterizza e, essendo naturali per questi verbi, non comportano l'uso delle espressioni perifrastiche negli equivalenti italiani.

3.3. La perifrasi *continuare a* con gli atelici

È importante evidenziare che oltre alle forme aspettuale russe marcate, periferiche, anche le forme prototipiche dei verbi atelici russi a volte vengono tradotte con una perifrasi italiana, *continuare a*, che in questi casi potrebbe sembrare pleonastica in quanto corrisponde al valore durativo 'naturale' dei verbi atelici.

Tuttavia dagli esempi del corpus con la perifrasi *continuare a* in corrispondenza di forme imperfettive di verbi atelici emerge un'indicazione importante: in questi casi infatti tale perifrasi segnala un rafforzamento del concetto di durata che emerge anche in russo. Come noto, la durata potrebbe essere espressa per mezzo delle sole forme imperfettive dei verbi atelici¹⁵, ma i dati del corpus evidenziano come in corrispondenza delle occorrenze di *continuare a* con valore durativo in italiano, il russo, oltre alla forma imperfettiva naturale presenta sempre un segnale, tipicamente un avverbio:

- (14) Nella trincea del Donbass, dove **si continua a combattere** come cento anni fa (R. Zunini, *L'Espresso* 20.03.2018).
V tranšejach Donbassa do sich por sražajutsja-I, kak sto let nazad (R. Dzunini, *Inosmi*).
(15) *A ona – vsë ezдила-I i ždala-I... Vsjakij raz* (A. Politkovskaja, *Putinskaja Rossija*, 2004).
Lei, invece, **continuava a fare la spola e ad aspettare...** Ogni volta (A. Politkovskaja, *La Russia di Putin*, C. Zonghetti).

¹⁵ Queste forme, nel caso dei verbi di attività e di quelli che denotano gli stati non permanenti, potrebbero avere anche valore iterativo in presenza di precisi indicatori testuali, ad es. *Staral'sja vesti sportivnyj obraz žizni – často igral v volejbol, mnogo plaval* ('Cercava di condurre uno stile di vita sportivo – spesso giocava a pallavolo, nuotava molto') (NKRJa); *Vstavaj on... inogda rano, inogda spal časov do devjati i daže bolee* ('Si alzava... a volte presto, a volte dormiva fino a circa le nove e anche di più') (NKRJa).

- (16) Persone che non hanno niente a che fare con la stazione ma che si spingono fin qui attraverso la piazza buia forse perché non c'è un altro locale aperto qui intorno, o forse per l'attrattiva che le stazioni **continuano a esercitare** nelle città di provincia (I. Calvino, *Se una notte d'inverno un viaggiatore*, 1979).
Oni nikak ne svjazany s vokzalom, no vsë ravno stekajutsja sjuda čerez tëmnuju ploščad'. Navernoje, drugie zavedenija poblizosti uže zakryty. Vokzaly provincial'nych gorodov po-prež-nemu okazyvajut-I na nas pritjagatel'noe vozdejstvie (I. Kal'vino, *Esli odnaždy zimnej noč'ju putnik*, 1994, G. Kiselëv).

Il concetto di durata in russo talvolta è rafforzato anche attraverso l'uso di una congiunzione che funziona come segnale discorsivo. Nell'esempio (17) è presente *i (e)* insieme al connettivo avverbiale concessivo *vsë-taki* (*eppure*), che indica come, malgrado una spiegazione molto dettagliata, l'interlocutore continui a non capire:

- (17) – **Continuo a non capirci** un accidente (V.M. Manfredi, *Aléxandros III, il confine del mondo*, 1998).
 – *I vsë-taki ja ne ponimaju-I, v čëm beda* (V.M. Manfredi, *Aleksandr Makedonskij. Predely mira*, M. Kononov).

Infine, in corrispondenza della perifrasi *continuare a* si osserva anche la reduplicazione della forma imperfettiva dei verbi atelici russi, talvolta accompagnata da un avverbio (es. 19):

- (18) – *Podchodjat-I i podchodjat-I.... košmar kakoj-to...* (V. Sorokin, *Očered'*, 1985).
 – **Continuano a farsi avanti...** un vero incubo... (V. Sorokin, *La coda*, I. S. Riccio).
 (19) *No zaunynnyj golos batjuški vsë zvučal-I i zvučal-I, i uže neponjatno bylo – psalom èto ili prosto rečiativ zaupokojnoj molitvy* (A. Kurkov, *Zakon ulitki*, 2005).
 Ma la voce malinconica del sacerdote **continuava a risuonare**, e non si capiva più se fosse un salmo o semplicemente il recitativo di una preghiera funebre (A. Kurkov, *I Pinguini non vanno in vacanza*, B. Osimo).

Di conseguenza, l'uso della perifrasi rafforzativa appare giustificato dalla presenza di questi segnali di durata più prolungata, nel testo russo¹⁶.

¹⁶ Ci sono anche casi come (20) in cui l'uso della perifrasi, che in sostanza non modifica il significato, sembra essere dovuto a una scelta stilistica dell'autore finalizzata a non ripetere la stessa forma verbale.

- (20) Roger girò la testa in direzione dello sguardo della ragazza e vide un Beneteau due alberi **puntare** dritto verso la linea delle barche ormeggiate, a tutta velocità. [...] Dalla barca non venne alcun segno di vita. **Continuava a puntare** dritta verso il molo senza diminuire la velocità (G. Faletti, *Io uccido* 2002).
Rodžer povernulsja v tu storonu, kuda smotrela devuška, i uvidel dvuchmačtovyj beneto, kotoryj na vsej skorosti šël-I prjamo k jachtam u pričala. [...] Na jachte ne podavali nikakich priznakov žizni. Ona neslas'-I prjamo k pričalu, ne sbavljaja skorosti (Dž. Faletti, *Ja ubivaju*, I. Konstantinova).

Meritano inoltre una menzione alcuni esempi con la perifrasi continuativa in italiano in corrispondenza di frasi russe contenenti verbi di movimento che, come noto, costituiscono un gruppo a sé nel sistema verbo-aspettuale russo (cfr. ad esempio Zaliznjak, Šmelev 2000: 87). Tale perifrasi occorre nelle traduzioni delle frasi con le forme perfettive dei verbi di movimento unidirezionali e atelici, come *pojti* derivato da *idti*, che hanno un valore incoativo, indicano cioè l'instaurarsi del movimento. Il nostro corpus contiene tre esempi con questo tipo di verbi, accompagnati dagli avverbi *dal'se* (*oltre*) (21 e 22) e *vperëd* (*avanti*) (23), che si riferiscono alla continuazione del movimento.

- (21) *Viktor smorgnul èto želanie, izbavilsja ot nego. Pošel-P dal'se* (A. Kurkov, *Zakon ulitki*, 2005).
Viktor repressé questo desiderio, se ne liberò. **Continuò a camminare** (A. Kurkov, *I Pinguini non vanno in vacanza*, B. Osimo).
- (22) Verso mezzogiorno videro che anche i cavalli erano stremati e così scesero e **continuavano a piedi** tenendoli per le briglie (V. M. Manfredi, *Aléxandros III, il confine del mondo*, 1998).
K poludnju oni uvideli, èto koni ustali, i potomu spešilis' i pošli-P dal'se, vedja ich na povodu. (V. M. Manfredi, *Aleksandr Makedonskij. Predely mira*, M. Kononov).
- (23) *Bol'soj šar ustanovilsja. – Pokatili-P vperëd, – skazal malen'kij šar* (V. Pelevin, *Žizn' nasekomych* 1993).
La sfera grande si fermò. “**Continuiamo a rotolare!**”, suggerì la sfera piccola (V. Pelevin, *La vita degli insetti*, V. Piccolo).

La perifrasi continuativa in questi esempi rende esclusivamente quanto espresso dagli avverbi *dal'se* e *vperëd* focalizzati sulla continuazione dell'attività di movimento ma non contiene nessuna informazione sul valore incoativo dei verbi russi.

In conclusione, la perifrasi *continuare a* nelle traduzioni italiane, attivata dai segnali avverbiali delle controparti russe, esprime un rafforzamento del valore aspettuale dei verbi atelici imperfettivi (es. 14, 15, 16, 17, 18 e 19). Tuttavia, essa non si riferisce in nessun modo al valore aspettuale dei verbi perfettivi incoativi di movimento (es. 21, 22 e 23), perché opera sulla continuazione dell'attività e non sul cambiamento che la instaura. Infatti, le traduzioni di questi esempi con i verbi di movimento potrebbero rendere tanto i verbi russi perfettivi quanto quelli imperfettivi¹⁷.

La traduttrice sceglie di non ripetere il verbo già utilizzato (*idti*) modificandolo con una perifrasi, ma di inserire una forma diversa (*neslas'*). L'utilizzo della forma semplice dell'imperfettivo è favorito dal valore polisemico di questo aspetto nel russo che, come noto, include anche il significato continuativo.

¹⁷ Sembra che tale uso della perifrasi continuativa sia possibile soltanto con i verbi perfettivi incoativi di movimento (cfr. es. 21, 22 e 23), ma il fenomeno merita di essere approfondito.

4. *Le perifrasi italiane corrispondenti ai verbi telici russi: achievements e accomplishments*

Le due classi appartenenti ai verbi telici sono gli *achievements* e gli *accomplishments*, che manifestano comportamenti sintattici comuni. Tuttavia, mentre negli *accomplishments* la transizione da uno stato all'altro, in seguito al cambiamento, può avere una durata più o meno prolungata, nel caso degli *achievements* tale durata è molto breve, anche puntuale, come negli es. (1b, c)¹⁸.

Per questo motivo, il valore di durata delle forme dell'imperfettivo (che nel caso delle situazioni dinamiche esprime tipicamente un evento in corso, cfr. es. 24a), non può essere realizzato dai verbi di *achievement*, che indicano solamente un evento molto breve di transizione da uno stato all'altro (cfr. es. 24b e 24c).

- (24) a. *Kogda ja vošel, moja žena nakryvala-I na stol, a synležal na divane i čital-I knigu* (es. di Zaliznjak, Šmelev 2000: 21).
 'Quando sono entrato, mia moglie stava apparecchiando la tavola, mentre mio figlio era steso sul divano e stava leggendo un libro.'
- b. **Ja dolgo nachodil-I poterjannyj košelëk* (es. di Zaliznjak, Šmelev 2000: 23).
 *'Io trovavo a lungo il portafoglio perduto.'
- c. **Al'pinisty tri časa dostigali-I veršiny* (es. di Zaliznjak, Šmelev 2000: 23).
 *'Gli alpinisti raggiungevano la cima per tre ore.'

Dato che un singolo evento di *achievement* non può estendersi nel tempo perché troppo breve, i loro imperfettivi esprimono situazioni che possono solo essere ripetute, dando luogo al valore iterativo. Di conseguenza, la perifrasi di durata, *continuare a* con i verbi di questa classe, attiva una lettura iterativa, come nei seguenti esempi:

- (25) Non che me ne fossi dimenticato, **ho continuato a ricordarmene sempre** (A. Baricco, *Novecento*, 1994).
Net, ja ne zabył o nich, ja postojanno ich vspominal-I (A. Barikko, *Legenda o pianiste*, N. Kolesova).
- (26) *Vladimir Georgievič perepisyval medlenno. Ja podala ej v postel' kotletu na chlebe i čašku čaju. Ona ela i pila leža, ne podnimajas'. On sprašival-I eë o znakach* (L. Čukovskaja, *Zapiski ob Anne Achmatovoj*, 1976).
 Vladimir Georgevič era lento a copiare. Le ho dato – era sempre sdraiata sul letto – una polpetta su una fetta di pane e una tazza di tè. Ha mangiato e bevuto distesa, senza sollevarsi. Lui **continuava a farle domande** a proposito della punteggiatura (L. Čukovskaja, *Incontri con Anna Achmatova*, G. Moracci).

¹⁸ Va tenuto presente comunque, che ci sono degli eventi che creano difficoltà di classificazione rispetto al gruppo di *achievements* e *accomplishments*, a seconda di come venga percepita la durata del momento culminativo di cambiamento (cfr. a questo proposito Bertinetto 1991: 40-41).

- (27) *Molodye ljudi uchodjat iz sem'i, stanovjatsja na nogi, berut v kredit dom i vyplacivajut-I za nego, poka ne sostarjatsja* (S. Al'perina, *Londonskaja volčica*, Rossijskaja gazeta, 20.01.2006).
I giovani vanno via dalla famiglia, si rimboccano le maniche, aprono un mutuo per la casa e **continuano a pagarlo** fino alla vecchiaia. (S. Al'perina, *La lupa di Londra*, S. Persano)
- (28) ...lui **continua a venire** ogni sera in questo caffè per vederla, per farsi riaprire la vecchia ferita (I. Calvino, *Se una notte d'inverno un viaggiatore*, 1979)
On zachodit-I sjuda každyj večer, čtoby uvidet' ee, razberedit' staruju ranu (I. Kal'vino, *Esli odnaždy zimnej noč'ju putnik*, G. Kisel'ev)

In (25) la lettura iterativa del testo di partenza italiano è rafforzata in entrambe le lingue dagli avverbi rispettivamente *sempre* e *postojanno*. Come si è visto, anche per i verbi atelici a valore durativo, gli equivalenti russi di *continuare a* in italiano sono per lo più accompagnati da avverbi, o da altri segnali testuali.

La presenza dell'avverbio è dovuta alla natura polisemica dell'imperfettivo sia dei verbi telici sia di quelli atelici¹⁹ e rappresenta un'opzione più frequente nel russo rispetto all'italiano che esplicita il valore attraverso l'uso di perifrasi²⁰.

Oltre al valore iterativo, gli imperfettivi marcati dei verbi di *achievement* possono esprimere quello imminenziale (cfr. Padučeva 1996: 110-111, 113-115; Zalizniak, Šmelev 2000: 23, 50).²¹ Una caratteristica simile è rilevata da Bertinetto per quanto riguarda i tempi imperfettivi di questa classe di verbi in italiano (da lui definiti verbi trasformativi)²². Lo studioso cita l'esempio (29) con l'imperfetto:

- (29) Finalmente il treno partiva (Bertinetto 1986: 271-272).

Un'altra costruzione imperfettiva italiana che realizza il valore imminenziale con questa classe di verbi è quella progressiva, come nella traduzione italiana dell'esempio russo (30):

¹⁹ Ed è necessaria con gli imperfettivi dei verbi di *accomplishment* che possono avere valore sia durativo sia iterativo se tale informazione non viene segnalata da altri mezzi testuali.

²⁰ È interessante notare che nel lavoro su *bez konca* come marca iterativa Plungjan e Rakhlina (2017: 300) affermano che gli avverbi come *bez konca* e *postojanno* possono essere considerati come membri di una famiglia di operatori quasi-grammaticali di iteratività che si differenziano per l'espressione di diverse sfumature lessicali. Un fenomeno analogo è stato osservato nello studio sulle forme al perfettivo futuro di verbi per lo più non durativi con valore imminenziale in russo, che spesso occorrono in presenza di un avverbio di tempo il quale contribuisce a codificare l'imminenza dell'evento (come *vot-vot*, *sejčas*, *skoro*, *teper'*) (Biagini 2023: 61).

²¹ Questa accezione è stata studiata a livello contrastivo italiano-russo, in maniera più approfondita da Biagini (2023), a partire dalla perifrasi *stare per*.

²² Bertinetto (1986), suddivide i verbi non-durativi (corrispondenti, grosso modo, agli *achievements*) in due gruppi, trasformativi e puntuali: i primi sarebbero caratterizzati da telicità, i secondi sarebbero privi di questo tratto (Bertinetto 1986: 88-90). Esempi di verbi puntuali sono *emettere un grido* e *stupirsi* (*Ibid.*: 276-278).

- (30) *I jasno, čto uže ne budet. Potomu čto Alik umiral-I* (L. Ulickaja. *Veselye pochorony*, 1997).
Ed era chiaro che ormai non ne avrebbero più avuti. Perché Alik **stava morendo** (L. Ulickaja. *Funeral party*, E. Guercetti).

Tuttavia, in entrambi gli esempi l'italiano potrebbe consentire anche di esprimere il valore imminenziale con la perifrasi *stare per* (*stava per partire, stava per morire*) che denota questo significato in maniera esplicita.

Nel caso degli esempi con *achievements* emerge come la forma imperfettiva nella sua accezione periferica assume valori diversi (iterativo e imminenziale) in funzione del contesto e, di conseguenza, viene resa con perifrasi differenti: *continuare a* e *stare per* (per esempi di forme russe rese da perifrasi imminenziali si rimanda a Biagini 2023).

Per quanto riguarda gli *accomplishments*, questi verbi esprimono un cambiamento finalizzato a raggiungere il risultato finale, dotato di durata, a differenza degli *achievements* e, di conseguenza, possono attivare l'accezione durativa dell'evento in corso, oltre a quella iterativa disponibile per tutti i telici²³.

Così, la perifrasi italiana *continuare a* può indicare il valore durativo di questa classe di verbi russi, anche se tale valore, come naturale, è molto più frequente con i verbi atelici (§ 3.3). Lo confermano i dati del nostro corpus che hanno restituito solo 1 esempio di *accomplishment* durativo vs. 10 esempi di atelici stativi e 12 di attività durativi:

- (31) *Anna Andreevna byla takaja, kak vseгда, tol'ko vsë razyskivala-I v sumočke čej-to adres, i vidno bylo, čto ona vsë ravno ne najdet ego* (L. Čukovskaja, *Zapiski ob Anne Achmatovoj*, 1976).
Anna Andreevna era quella di sempre, solo **continuava a cercare** nella borsetta l'indirizzo di qualcuno, ed era evidente che non lo avrebbe mai trovato (L. Čukovskaja, *Incontri con Anna Achmatova*, G. Moracci).

Come gli *achievements*, gli *accomplishments* possono avere valore iterativo. Anche il numero degli esempi di verbi di *accomplishment* con valore iterativo, tradotti con la perifrasi continuativa in italiano nel nostro campione è ridotto, molto inferiore a quello dei verbi di *achievement* con la stessa funzione. Si tratta degli es. (32), (33) e (34). Anche in questi esempi il testo offre delle indicazioni che comportano un'interpretazione iterativa.

- (32) *Teper' [...] on vsë eščë sam kosit-I travu elektrokosilkoj na dačnoj lužajke meždu kustov gortenzij i roz* (V. Erofeev, *Chorošij Stalin*, 2004).
Adesso [...] **continua a tagliare** con un tosaerba il prato della dacia tra i cespugli di ortensie e di rose (V. Erofeev, *Il buon Stalin*, L. Montagnini).

²³ Gli *accomplishments* rappresentano l'unica classe lessicale dei verbi russi (e slavi) che forma le 'vere' coppie aspettuali regolari, previste dalle descrizioni che postulano un'equivalenza lessicale ideale tra i due membri dell'opposizione distinti unicamente dall'aspetto: da una parte il perfettivo che denota l'evento compiuto, dall'altra, l'imperfettivo che indica l'evento in corso (cfr. ad esempio Zaliznjak, Šmel'ev 2000: 46). Gli *achievements*, invece, non possono esprimere un 'evento in corso' in quanto privi di durata; i loro imperfettivi denotano un evento iterato oppure hanno valore imminenziale (cfr. es. 28 e 19).

- (33) *La relatività continua a riservarci nuove sorprese* (T. Regge, *Cronache dell'Universo*, 1981).
Otnositel'nost' neizmenno gotovit-I nam vsë novye i novye šjurprizy (T. Redže, *Ėtjudy o Vselennoj*, D.P. Pontekorvo).
- (34) La risposta è molto complicata e dipende dal destino dell'universo; non sappiamo infatti se questo **continuerà a dilatarsi** oppure se le galassie si riuniranno nuovamente fra cento miliardi di anni, come sostengono altri (T. Regge, *Cronache dell'Universo*, 1981).
Otvēt očēn' složen i zavisit ot grjaduščej sud'by Vselennoj; my daže ne znaem, budet li ona i v dal'nejšem rassirjat'sja-I, ili že galaktiki snova soberutsja vmeste čerez milliardy let, kak utverždajut nekotorye (T. Redže, *Ėtjudy o Vselennoj*, D.P. Pontekorvo).

Infine, un altro valore che può essere attivato dagli imperfettivi, tipicamente con i verbi di *accomplishment*, è quello conativo “che indica l'intenzione (o il tentativo) di realizzare qualcosa, più che l'atto di realizzarlo” (Bertinetto 1991: 81), illustrato dagli es. 35, 36, 37, 38, 39 con il gerundio e 40) e reso nelle traduzioni italiane con la perifrasi *cercare /tentare di*.

Alcuni dei verbi più frequenti presenti a fronte di queste perifrasi sono: *lovit'* (prendere), *ugovarivat'* (convincere), *uveščevat'* (convincere), *ulamyvat'* (persuadere), *ubeždat'sebja* (convincersi), *dobivat'sja* (ottenere, conquistare, correre dietro), *utešat'sebja* (consolarsi), *schvatyvat'sja* (afferrarsi), *spasat'* (salvare), *prjatat'* (nascondere), *otbyvat'sja* (respingere), *ostanavlivat'* (fermare).

- (35) *Otec ugovarival-I ego byt' poostorožnee* (V. Erofeev, *Chorošij Stalin*, 2004).
 Mio padre **cercava di persuaderlo** a essere più prudente (V. Erofeev, *Il buon Stalin*, Lucia-na Montagnini).
- (36) *Ty kresti ego choť tak, choť vtemnuju... – uveščevala-I Mar'ja Ignat'evna* (L. Ulickaja, *Veselye pochorony*, 1997).
 “Tu battezzalo almeno così, almeno a sua insaputa...” **cercava di convincere** Mar'ja Ignat'evna (L. Ulickaja, *Funeral party*, E. Guercetti).
- (37) *Roditeli ego otgovarivali-I, potomu čto znali, kak èto nesladko* (A. Politkovskaja, *Putinskaja Rossija*, 2004).
 Sapendo a che tipo di vita — durissima — sarebbe andato incontro, i genitori **avevano cercato di dissuaderlo** (A. Politkovskaja, *La Russia di Putin*, C. Zonghetti).
- (38) *Rabota Alekseju nraivilas', no ljudi krugom dobivalis'-I bol'shej zarplaty, novych kvartir, pokupali chorošuju mebel'* (J. Družnikov, *Angely na končike igly*, 1988).
 Ad Aleksej il lavoro piaceva, ma tutti attorno a lui **cercavano di ottenere** un salario più alto e un nuovo appartamento, compravano mobili buoni (J. Družnikov, *Angeli sulla punta di uno spillo*, F. Aceto).
- (39) – *Čto vy, Šēm... – otdiraja-I ego ruki, zašipel Artur* (V. Pelevin, *Žizn' nasekomych*, 1993).
 “Sam, ma che...”, sibilo Artur, **cercando di togliersi** le mani di dosso (V. Pelevin, *La vita degli insetti*, V. Piccolo).

- (40) *Izo vsech sil on prižimal ko rtu, zapichival v rot chleb, sosal ego, rval i gryz... Ego ostanavli-vali-I sosed. – Ne eš' vsě, lučše potom s' eš', potom...* (V. Šalamov, *Kolymskie rasskazy*, 1954-1962).

Si premeva il pane contro la bocca con tutte le forze, se lo ficcava in bocca, lo succhiava, ne strappava dei pezzi, li rosicchiava... I vicini **cercarono di fermarlo**: 'Non mangiarlo tutto, è meglio se lo tieni per dopo, dopo...' (V. Šalamov, *I racconti di Kolyma*, M. Binni).

Anche per gli *accomplishments* in questo caso la forma imperfettiva nella sua accezione periferica può assumere valori diversi (iterativo e conativo) in funzione del contesto e, di conseguenza, viene resa in modo diverso (rispettivamente con *cercare di* o con il passato prossimo):

- (41) *A noi ci hanno fermato cinque volte la carrozza, nei viaggi dal castello a qua!* (I. Calvino, *Il barone rampante*, 1957).
Oni pjat' raz ostanavlivali-I našu karetu po doroge iz zamka sjuda (I. Kal' vino, *Baron na dereve*, 1965, L. Veršinina).

La perifrasi *cercare di/tentare di* viene utilizzata anche, come si è visto sopra (§ 3.1), per rendere in italiano gli imperativi incoativi dei verbi di stato (es. 6-8) russi e in quel caso appare come un operatore che attiva un certo grado di agentività del loro soggetto in quanto responsabile dell'instaurarsi dello stato. Quando occorre con i verbi di *accomplishment* (es. 35-40) invece è focalizzata sul soggetto-agente che causa il cambiamento, defocalizzando il risultato (che non sappiamo se viene raggiunto).

È interessante notare che la perifrasi *cercare di*, che svolge un ruolo importante tra le perifrasi aspettuali italiane, non viene contemplata da nessuna delle descrizioni delle perifrasi da noi consultate (cfr. Bertinetto 1991, Serianni 2015, Squartini 1998, Cerruti 2011).

5. Conclusioni

L'approccio teorico adottato in questo lavoro è basato sull'idea, condivisa nella vasta letteratura sull'argomento, che la semantica verbale determina la scelta della forma aspettuale nelle lingue slave (tra gli altri: Maslov 1948; Gebert 1991, 1995, 2014; Zaliznjak, Šmelev 2000). Ne consegue che i verbi di ciascuna delle due classi semantiche, telici ed atelici, utilizzano aspetti opposti come loro rispettive forme naturali e prototipiche. Così pure le forme aspettuali marcate, ovvero periferiche (rispetto al prototipo), assumono valori diversi, a seconda della classe semantica (lessicale) di appartenenza, sulla base anche del contesto.

Il confronto tra le perifrasi italiane e le equivalenti forme verbali russe, estratte dal Corpus Nazionale della Lingua Russa (NKRJa), ha messo in evidenza il fatto che le perifrasi italiane corrispondono alle forme periferiche dei rispettivi aspetti in maniera abbastanza sistematica. Inoltre, le perifrasi fasali che traducono le forme aspettuali marcate russe rendono esplicito il valore aggiuntivo che differenzia tali forme marcate dalle loro controparti prototipiche e neutre.

In particolare, da questa prima esplorazione emerge che le forme periferiche dei verbi atelici russi vengono spesso rese in italiano dalle costruzioni perifrastiche (*in*)*cominciare a* e *cercare di*, che segnalano esplicitamente il loro carico semantico aggiuntivo rispetto alle forme prototipiche imperfettive di questi verbi. Infatti le controparti marcate perfettive manifestano l'accezione incoativa e, nel caso dei verbi di attività a volte semelfattiva, mentre all'imperativo nei corrispettivi italiani è presente la perifrasi *cercare di*, incoativa con maggiore sfumatura agentiva.

Per i verbi telici, invece, le forme naturali sono quelle perfettive, mentre le forme marcate sono imperfettive. A differenza degli *accomplishments*, però, gli *achievements* non possono avere valore durativo in quanto le situazioni codificate da questi verbi sono prive di durata o hanno una durata molto breve. Sempre per questo motivo le loro forme imperfettive, periferiche, oltre a esprimere il valore iterativo, comune a tutti i verbi russi, possono presentare valore imminenziale. Questi valori vengono resi in modo esplicito in italiano rispettivamente dalle perifrasi *continuare a* e *stare per*.

Invece, le forme imperfettive, periferiche, degli *accomplishment*, che come già sottolineato possono esprimere la durata, oltre al valore iterativo, possono avere valore conativo. Questi ultimi due valori nelle controparti italiane vengono resi rispettivamente con le perifrasi *continuare a* e *cercare di*.

Per i verbi atelici il significato della perifrasi italiana *continuare a* può anche corrispondere al valore delle forme verbali naturali russe (durata per gli imperfettivi durativi) e svolgere una funzione rafforzativa. In questi casi l'uso della perifrasi è opzionale, non modifica il significato degli enunciati (può essere sostituita da *star facendo* o dall'imperfetto) e negli esempi russi è presente un segnale testuale che rafforza il significato di durata.

Nonostante gli eventuali fenomeni di interferenza e la possibile arbitrarietà di alcune scelte dei traduttori, i corpora paralleli si confermano uno strumento utile per l'analisi contrastiva, poiché permettono di evidenziare delle tendenze generali che caratterizzano l'uso in due lingue diverse per uno stesso contesto.

In generale, le perifrasi occorrono spesso nelle traduzioni di forme aspettuative periferiche, mentre le forme aspettuative naturali vengono rese in italiano da forme verbali semplici. Tale esito, seppur debba essere considerato una tendenza, data anche la quantità ridotta di dati presi in considerazione, costituisce una conferma dell'adeguatezza del quadro teorico proposto.

Essendo le forme aspettuative russe sintetiche e polisemiche, il fatto di aver trovato nelle perifrasi traduenti una prova del loro valore semantico ipotizzato in base al quadro teorico adottato, costituisce il contributo innovativo apportato da questo lavoro. Tenuto conto che la categoria dell'aspetto verbale rappresenta uno degli elementi più complessi da acquisire per gli studenti di lingua madre non slava (cfr. tra gli altri Gebert 2009 e Townsend 2001), il risultato di questo lavoro mostra importanti risvolti per la teoria dell'aspetto verbale in generale, ma anche per la didattica del russo come lingua straniera e per la traduzione tra il russo e l'italiano.

Bibliografia

- Andersen, Shirai 1996: R.W. Andersen, Y. Shirai, *Primacy of Aspect in First and Second Language Acquisition: The Pidgin/Creole Connection*, in: W. C. Ritchie, T. K. Bhatia (eds.), *Handbook of Second Language Acquisition*, San Diego (CA) 1996, pp. 527-570.
- Bertinetto 1986: P.M. Bertinetto, *Tempo, Aspetto e Azione nel verbo italiano: il sistema dell'indicativo*, Firenze 1986.
- Bertinetto 1991: P.M. Bertinetto, *Il verbo*, in L. Renzi, G. Salvi (a cura di), *Grande grammatica italiana di consultazione*, II, Bologna 1991, pp. 13-162.
- Biagini 2023: F. Biagini, *Gli equivalenti russi della perifrasi verbale imminente italiana stare per*, "mediAzioni", XXXVI, 2023, pp. A46-A64, cfr. <<https://doi.org/10.6092/issn.1974-4382/16306>>.
- Cerruti 2011: M.S. Cerruti, *Strutture perifrastiche (Perifrastiche, strutture)*, in: *Enciclopedia dell'italiano (EnclIt)*. Istituto della Enciclopedia italiana Giovanni Treccani, <[https://www.treccani.it/enciclopedia/strutture-perifrastiche_\(Enciclopedia-dell'Italiano\)/>](https://www.treccani.it/enciclopedia/strutture-perifrastiche_(Enciclopedia-dell'Italiano)/>) (ultimo accesso: 06.12.2024).
- Comrie 1976: B. Comrie, *Aspect*, Cambridge 1976.
- Garey 1957: H.B. Garey, *Verbal Aspects in French*, "Language", XXXIII, 1957, pp. 91-110.
- Gebert 1991: L. Gebert, *Il Sintagma verbale*, in: F. Fici Giusti, L. Gebert, S. Signorini (a cura di), *La lingua russa: storia, struttura, tipologia*, Roma 1991, pp. 237-294.
- Gebert 1995: L. Gebert, *Imperfectives as Expression of States*, in: P.M. Bertinetto, V. Bianchi, O. Dahl, M. Squartini (eds.), *Temporal Reference: Aspect and Actionality*, II (Typological Perspectives), Torino 1995, pp. 79-94.
- Gebert 2009: L. Gebert, *Scelta aspettuale 'oggettiva' e 'soggettiva' e l'imperfettivo fattivo*, in: L. Gebert, M. Załęska (a cura di), *Linguistica polacca in Italia. Linguistica italiana in Polonia*, Pisa 2009 (= "Studi Italiani di Linguistica Teorica e Applicata", XXXIII, 3), pp. 493-502.
- Gebert 2014: L. Gebert, *Aspetto verbale, compiutezza ed implicazioni didattiche*, in: A. Bonola, P. Cotta Ramusino, L. Goletiani (a cura di), *Studi italiani di linguistica slava: strutture, uso e acquisizione*, Firenze 2014, pp. 319-333.
- Hopper, Thompson 1980: P. Hopper, S. Thompson, *Transitivity in Grammar and Discourse*, "Language", LVI, 1980, pp. 251-299.
- Maslov 2004: Ju.S. Maslov, *Vid i leksičeskoe značenie glagola v sovremennom russkom literaturnom jazyke*, in: Id., *Izbrannye Trudy. Aspektologija. Obščee jazykoznanie*, Moskva 2004² (1948¹), pp. 71-90.

- Padučeva 1996: E.V. Padučeva, *Semantičeskie issledovanija*, Moskva 1996.
- Padučeva 2009: E.V. Padučeva, *Semantika vida i točka otsčeta*, in: Ead., *Stat'i raznykh let*, Moskva 2009, pp. 375-393.
- Plungjan, Rakhilina 2017: V. A. Plungjan, E.V. Rakhilina, *Grammaticalization and Coercion: The Case of Russian bez konca*, in: A. Makarova, S. Dickey, D. Divjak (eds.), *Each Venture a New Beginning: Studies in Honour of Laura A. Janda*, Bloomington (IN) 2017, pp. 297-311.
- Rosch 1973: E. H. Rosch, *On the Internal Structure of Perceptual and Aemantic Categories*, in: T.E. Moore (ed.), *Cognitive Development and the Acquisition of Language*, New York 1973, pp. 111-144.
- Serianni 2015: L. Serianni, *Italiano*, Milano 2015.
- Squartini 1998: M. Squartini, *Verbal Periphrases in Romance: Aspect, Actionality, and Grammaticalization*, Berlin-Boston 1998, DOI: <<https://doi.org/10.1515/9783110805291>>.
- Townsend 2001: Ch.E. Townsend, *An Approach to Describing and Teaching Slavic Verbal Aspect and the Lexicon*, "Journal of Slavic Linguistics", VIII, 2001, pp. 171-183.
- Vendler 1967: Z. Vendler, *Verbs and Times*, in: *Linguistics in Philosophy*, Ithaca (NY) 1967, pp. 97-121.
- Zaliznjak, Šmelev 2000: A.A. Zaliznjak, A.D. Šmelev, *Vvedenie v russkuju aspektologiju*, Moskva 2000.

Abstract

Francesca Biagini, Lucyna Gebert

The Russian Counterparts of Italian Periphrases with Aspectual Value

This contribution focuses on the realization in Russian of certain Italian aspectual periphrases – (*in*)*cominciare/iniziare a, continuare a, cercare/tentare di* using data from the Russian-Italian parallel corpus of the *National Corpus of the Russian Language* (НКРЯ). The theoretical framework adopted is based on the idea that the choice of aspectual forms in Slavic languages is determined by the lexical or actional classes of verbs: the natural, prototypical forms of telic verbs (achievements and accomplishments) are perfective, whereas those of atelic verbs (states and activities) are imperfective. Conversely, the forms of the opposite aspect activated for each class represent marked, peripheral choices with respect to the prototype. The comparison of the Italian periphrases with equivalent Russian verbal forms extracted from the corpus shows that they often correspond to simple aspectual forms in Russian, which quite systematically represent peripheral aspectual choices. As a result, Italian periphrases corresponding to Russian marked aspectual forms explicitly convey the additional semantic load that differentiates them from their unmarked, prototypical counterparts. Since Russian aspectual forms are synthetic and polysemous, the presence of periphrases with the hypothesized semantic value in Italian supports the validity of the adopted theoretical framework.

Keywords

Verbal Aspect; Periphrasis; Italian-Russian Contrastive Analysis; Italian-Russian Parallel Corpus.

Victoriya Trubnikova

Leave-Taking Formulas in Contemporary Russian Language

1. Introduction

Farewells are universal speech acts that have received limited attention in empirical studies (Baehren 2022) and are rarely discussed in their own right (Ameka 1999), a trend that also applies to the Russian language. Along with greetings, farewells are considered fixed formulas devoid of propositional content (Searle 1969); thus, they tend to be understudied from a sociopragmatic perspective.

For instance, according to Meibauer (2017: 40), the question 'How are you?' functions as a greeting: "If it is a kind of greeting, a reaction like 'Fine' would suffice, with all further information being a violation of Grice's maxim of Quantity. Despite having a literal reading, 'How are you?' is standardized as a greeting formula". As suggested by Pinto (2011: 229), the routine greeting 'How are you?' does not reflect a sincere inquiry into the Hearer's well-being, but instead serves to make the Hearer feel comfortable and create a positive impression.

It is recognized, though, that such formulas tend to be culturally specific. Flanzer (2019) reports that Brazilians often end their social encounters with expressions such as *a gente se vê* 'see you' or *aparece em casa* 'show up at my place' which are not meant to be taken literally. Similarly, the English phrase 'We really must get together sometime' can lead to a pragmatic failure if interpreted literally as a sincere suggestion by non-Americans (Thomas 1983: 108). Finally, Ameka (1999: 257) describes learning the Dutch expressions *tot ziens!* 'till seeing' and *tot straks* 'till later'. She discovered that the latter is not used as a formulaic expression but only when a further contact during the day is expected. Being a cause of pragmatic failures, these formulas tend to be a difficult topic for foreign language speakers.

One of the ways of coming to grips with the phenomenon of ritualized verbal behavior is through the analysis of 'politeness formulas' (Ferguson 1981) or 'conversational routines' (Coulmas 1981; Aijmer 1996), which act as a "social lubricant" (Watts 1992: 45) in an ongoing conversation. They are "highly stereotyped", can be altered only for special effect (Ferguson 1981: 25), and function as automatic responses to recurrent features of the situation (Aijmer 1996: 2; Rachilina *et al.* 2021). From this perspective, language teaching materials often present ritual behaviour within formal and informal settings, offering lists of expected phrases (Wolfson, Judd 1983; Formanovskaja 2002; Balakaj 2004).

However, as will be demonstrated in this study, the realization of these formulas is prone to social variation according to more than just (in)formality. Greeting and parting rituals depend heavily on sociopragmatic variables such as 1) social distance between interlocutors; 2) social status; and 3) the length of time elapsed between previous and future encounters (Ferguson 1981: 29). Both the type of relationship between the interactors and the specific setting influence the way greetings and leave-taking are performed. Differences can be observed between individual and group interactions, face-to-face and distant communication, prior acquaintance of the parties involved, the conventional or emotional nature of the occasion, the probability and frequency of contact, etc. (Firth 1972). As separation requires mitigation, there is a need to identify 1) the strategies speakers employ when they end interactions; and 2) the social variables that influence their choices.

People opt for routinized formulas to maintain the stability of a relationship, defer to the authority of a superior, or protect the psychological self-image of the person (Bryant 2008: 26). Thus, conventional interactional exchanges implicate multiple goals, both egoistic (self-promoting) and altruistic (relational goals). Accordingly, leave-taking routines can have propositional content, and they can include a wide array of options, such as thanks, apologies, justifications, good wishes, and promises, which are used to promote reciprocity and collaboration and/or express emotions (Flanzer 2019).

Based on these premises, this study compiles verbal strategies of leave-taking behavior used by native Russian speakers. The research question addressed is: What strategies of leave-taking behavior are attested in the contemporary Russian language? The findings may have pedagogical implications for raising awareness of appropriate speech behavior in Russian.

The paper is structured as follows. Section 2 presents an up-to-date literature review on leave-taking formulas focusing on the Russian language. This is followed by Section 3 in which the methodology of data collection and analysis is discussed. Section 4 offers the results of the study on farewell formulas in the contemporary Russian language. Finally, section 5 concludes with implications to be drawn for future studies.

2. *Farewell Formulas in Russian*

2.1. *Previous Research on Leave-Taking Formulas*

As far as leave-taking behavior is concerned, a three-stage development is recognized: 1) the pre-closing phase, where one of the interactants signals an intention to terminate the encounter; 2) the leave-taking phase, often involving social rituals such as expressions of gratitude and phatic talk; 3) the final departure (Schegloff, Sacks 1973: 317; Aijmer 1996).

The use of leave-taking formulas, triggered by the social ritual of parting, is frequently extended by supportive face-enhancing moves, such as promises of future contact or well wishes. The behavior associated with parting ranges from the use of conventionalized expressions (*poka* 'bye', *do svidaniya* 'goodbye') to concluding remarks involving multiple turns. When one participant decides to end the interaction, they usually begin by signal-

ling their intent and then proceed with conversational moves aimed at maintaining interpersonal rapport. As Goffman (1967: 41) put it, a farewell is needed to “sum up the effect of encounter upon the relationship and show what the participants may expect of one another when they next meet”. This perspective is supported by Knapp *et al.* (1973), who outlined the functions of leave-taking as follows:

- signal inaccessibility to continue the interaction;
- signal supportiveness to express one’s pleasure for having been in contact and to indicate hope for renewed contact.

These functions are consistent with Laver’s (1981: 302–303) categorization into mitigation and consolidation ascribed to the linguistic routines of parting. While mitigatory comments appeal to the Hearer’s negative face to ‘signal inaccessibility’, justifying the Speaker’s withdrawal, consolidatory expressions, such as solitudes, appreciations, benedictions, hopes for the continuation of the relationships, address the Hearer’s positive face by ‘signalling supportiveness’. In his review of farewell functions, Clark (1985) mentions some which essentially overlap with Laver’s proposal of consolidation moves, such as the need to express pleasure about each other, indicate continuity in the relationships for future contact, and wish each other well. These observations highlight the importance of analyzing leave-taking expressions not merely as standard routines but as pragmatically rich tools for managing social relationships. The rationale can be summarized as such:

Firstly, it allows the participants to achieve a cooperative parting, in which any feeling of rejection by the person being left can be assuaged by appropriate reassurance from the person leaving. Secondly, it serves to consolidate the relationship between the two participants using behavior that emphasizes the enjoyable quality of the encounter, the mutual esteem in which the participants hold each other, the promise of a continuation of the relationship, the assertion of mutual solidarity, and the announcement of a continuing consensus for the shape of encounters in the future (Laver 1975: 231).

Accordingly, conversational closings in English tend to follow an observable pattern (Ishihara, Cohen 2022: 177–178) and include pre-closing moves and terminal exchanges:

- 1) Pre-closing signals, which mark the Speaker’s intention to end the conversation without adding new information:
 - a. Arrangements (‘I’ll see you in the morning’);
 - b. Announced closing (‘Ok, let me get back to work’);
 - c. Appreciations (‘Thank you’);
 - d. Solitude (‘Take care’).
- 2) Terminal exchanges: actual take-leaving, with formulaic expressions such as the canonical ‘goodbye’.

Conversational routines are considered challenging to teach because they are culturally bound and because their formal features and situational frames are highly complex (Yorio 1980). For example, a study of farewell formulas in Persian identifies nine distinct strategies used when a guest leaves a house. Although these strategies reflect universal face maintenance patterns, they are formulated according to specific cultural and religious norms (Poliščuk, Godrati 2022). Despite there being several studies on teaching speech acts (Judd 1999; Yates 2004; Martinez-Flor, Usò-Juan 2010; Ishihara, Cohen 2022, to name just a few), conversational routines do not receive much attention, as they are treated as fixed formulas associated with the (in)formality of the occasion.

However, as previously mentioned, goodbye formulas are “highly conventionalized” (Firth 1972: 2), yet they are inherently variable; their actual realization depends on the specific situation, social factors of the participants (such as age or gender), the nature of the relationship between them (social distance and dominance) and individual preferences (Flanzer 2019: 8). When routine formulas do not accompany leave-taking, it violates social expectations (Adato 1975)¹. The actual wording of leave-taking is licensed by mutual recognition of each other’s meaningful presence. Farewells, as well as greetings, signal social cohesion within a group; otherwise, people “virtually do not recognize having been together” (Adato 1975: 257). As part of phatic communication, people pay attention to the Hearer’s presence, thereby expressing their benevolence. Indeed, more acquainted individuals are more likely to say goodbye, though it is optional for those less acquainted (Clark, French 1981). This suggests that verbal leave-takings are regulated by contextual information on the nature of relationships. Abruptly opting out of a conversation can jeopardize future interactions.

When applied, linguistic routines in the closing phase of a conversation are often elaborate, suggesting a high risk to face (Laver 1981: 231). They can vary in their degree of conventionality, and the choice of formula depends on factors such as intimacy, relative status, length of contact, and expected time apart (Betholia 2009: 111). The perceived likelihood of future encounters may also influence the expansiveness of the salutation, even among people who are not very intimate.

Although sociopragmatic factors influencing the choice of a leave-taking move are discussed by researchers (Betholia 2009; Flanzer 2019; Ishihara, Cohen 2022), it remains unclear how to establish concrete correlations between these factors and appropriate supportive moves. For instance, how does the expansiveness of the salutation determine the choice of a specific leave-taking formula? If the duration of separation is a variable to consider, should the same formula be used if the next meeting is in a week, in a month, or a year? The answers to these questions remain impressionistic and subjective.

¹ Interestingly, a Russian saying *ujti po-anglijski* or a Polish *wyjść po angielsku* (both translated as ‘leave as English do’) are the counterpart of the English ‘to take French leave’, meaning to leave suddenly without notice or permission. The presence of these proverbs also implies that this kind of behavior is perceived as disruptive.

2.2. Farewell Formulas in Russian

Most studies on closing patterns in the Russian language are based on researchers' intuitions about appropriate etiquette norms (Čerepanova 2008; Chučinaeva 2017; Čurejeva 2020; Dorfman 2012; Gladrov 2014; Kokhan 2011; Lukojanova 2011; Rabenko, Sulejmanova 2018). Several works illustrate prescriptive norms of speech behavior based on social dos and don'ts (Balakaj 2004; Formanovskaja 2002). The lack of empirical studies is attributed to the view that ritual speech behavior follows established social scripts:

Učastniki etiketnoj rečevoj situacii strogo sledujut vnešnej, ritual'noj tradicii vedenija besedy, predstavljaja sebja v kačestve vežlivogo člena jazykovogo kollektiva (Rabenko, Čerepanova 2008: 175).

[Participants in an etiquette speech situation strictly follow the external ritual tradition of conducting a conversation, presenting themselves as a polite member of the speech community]².

Rečevaja etika – eto pravila dolžnogo rečevogo povedenija, osnovannye na normach morali, nacional'no-kul'turnych tradicijach (Graudina, Širjaev 2008: 90).

[Speech ethics is a set of rules of proper verbal behavior based on moral norms and national-cultural traditions].

According to these studies, linguistic behavior is shaped by cultural values that impose social constraints:

Formuly rečevogo etiketa otnositel'no ustojčivy. Oni predstavljajut soboj nabor verbal'nych stereotipov, kotorye ne sozdajutsja, a vosproizvodjatsja kak celoe v processe obščeniya. V zavisimosti ot uslovij obščeniya vybiraetsja formula s opredelëнной stilističeskoj okrasokoj: Proščajte! – knižnoe, Do svidanija! – nejtral'noe, Poka! – razgovornoe (Voroncova 2011: 102).

[Etiquette formulas are quite stable. They are verbal stereotypes that are not created but are reiterated during interactions. Based on the conditions of the interaction, speakers choose a formula with a specific stylistic connotation: *Proščajte* (bookish), *Do svidanija!* (neutral), *Poka* (colloquial)].

However, research notes significant variation in speech etiquette, especially in greetings and farewells (Pachomova *et al.* 2020). The variability that undermines the stability of etiquette behavior is often attributed either to the looseness of the young generation, who do not strictly adhere to norms:

Takim obrazom, molodye ljudi pytajuťsja rešit' stojaščuju meždu nimi dilemmu: vosproizvesti normu etiketnogo rečevogo povedenija i v to že vremja skazat' svoë sobstvennoe slovo (Rabenko, Čerepanova 2008: 175).

[Thus, young people attempt to solve the dilemma: to reproduce the norm of etiquette speech behavior and at the same time say their own word].

² Here and afterwards, unless otherwise indicated, the translation is mine (VT).

or to the influence of the English language, as in the case of duplication of *poka-poka* (from English ‘bye-bye’) (Lukojanova 2011; Krongauz 2017; Pachomova 2012). Prescriptive norms also influence not only what to say but also when to say goodbye, for example, in service encounters. This norm can also be challenged by ‘Western corporate etiquette’. Lukojanova (2011) discusses a shift towards ‘European norm’ when greetings and farewells have become necessary between a salesperson and a client: “*skladyvaetsja oščuščenie, čto obe storony vosprinimajut privetstvija i proščanija v dannoj situacii kak neestestvennyje, formal’nye, a potomu nenužnye*” [I got the impression that both parties perceive greetings and farewells in this situation as unnatural, formal and unnecessary] (Lukojanova 2011: 229)³. The observation of the mentioned author is not supported by the data.

However, several studies do analyze actual verbal behavior. A large-scale survey of student-to-student interactions (aged 11–18) with 1411 recorded responses identified 17 different types of leave-taking expressions (Grabovskaja *et al.* 2018). The farewell *poka* (‘bye’) was used 1086 times, while other fixed formulas have less significant frequency. For instance, a good wish expressed with *udači* (‘good luck’) was found 127 times while *chorošego dnja / večera* (‘[have] a good day/evening’) was mentioned only 17 times.

There are other genitive constructions for leave-takings as in *želat’* + GEN used with the verb *želat’* ‘to wish’ omitted, for instance, *chorošego dnja* GEN + ‘[have] a good day’, *vsech* GEN *blag* GEN ‘all the benefits’, *vsego* GEN *dobrogo* GEN ‘all the kind’ (Skrebцова 2023). A similar structure found in the Russian National Corpus involves another leave-taking formula *ščastlivo* (happy-ADV), being part of *zasim / zatem + daj Bog / želaju + DAT tebe / vam + ščastlivo + Infinitiv* (‘with that – let God - wish you – happily – Verb’) (Bobrik 2021: 74), which has undergone a pragmatic extension from an authentic wish to a farewell formula. Among other formulas, the discourse marker *davaj* is found. Čurejeva (2020: 160) hypothesizes that it can be an elliptic form of *Davaj(te) proščat’sja* (‘Let’s take leave’⁴). It is claimed that this formula has begun to be widespread in informal settings (Krongauz 2021: 41), although empirical evidence is lacking.

The Russian everyday speech corpus “One Speaker’s Day” with 54 informants (ORD) (Ermolova *et al.* 2019) shows a divergence between textbook etiquette (Balakaj 2004; Formanovskaja 2002; Vvedenskaja *et al.* 2001) and actual usage. Among 240 leave-taking episodes, the most mentioned formulas are *ladno, vsë* ‘alright, bye now’, and *davaj/davajte* ‘okay then’, especially in a closing exchange of phone calls.

According to a textbook on Russian etiquette and culture (Vvedenskaja *et al.* 2001: 147), farewell formulas express:

³ Krongauz (2017) explains this point. If politeness is seen as an avoidance of conflict, it means that the recognition of other people can be described with the mindset “I am with you so and I cannot threaten you”. On the other hand, if you ignore the other person, it probably means “You do not exist so I cannot threaten you”, which is claimed to be a quite common behavior in the Russian cultural setting.

⁴ If possible, I adopted word for word translation.

- Hopes for a new contact (*skoro uvidimsja* ‘we’ll see each other soon’);
- Doubts about a new contact (*proščaj* ‘farewell’);
- Good wishes (*udači* ‘good luck’, *chorošego otдыхa* ‘good rest’, *vsego dobrogo* ‘all the kind’).

In Balakaj’s dictionary on Russian speech etiquette, which includes 6000 words and expressions for ritualized behavior, there is a list of 231 closing formulas, including proverbs, fixed expressions, and loan words with different degrees of (in)formality and frequency of usage. Based on the semantics of these formulas, we identified prototypical situations of parting that require the use of fixed expressions :

- preclosing moves of a guest who decides to leave (*zasidelsja* ‘stayed too long’, *zapozdnilsja* ‘it was late’, *nado i čest’ znat’* ‘let’s not overstay our welcome’);
- wishes for the person who is leaving⁵ (*s Bogom* ‘with God’, *v dobryj put’* ‘in a good trip’, *gladkoj dorožki* ‘smooth way’, *mjagkoj posadki* ‘soft landing’, *poputnogo vetra* ‘fair wind’, *skatert’ju dorožka* ‘let the road be a tablecloth’, *ščastlivo dobrat’sja* ‘get there happily’, *ščastlivogo puti* ‘happy way’, *pišite piš’ma* ‘write us letters’, *vetra v parusa* ‘let the wind blow in your sails’);
- wishes for the person who is staying (*byvajte zdorovy* [živite bogato] ‘stay healthy [live a rich life]’, *ne zabyvajte nas* ‘don’t forget about us’, *ne pominajte lichom* ‘don’t remember bad things about us’, *ostavajtes’ s mirom* ‘stay in peace’, *byvajte* ‘stay well’).

In the same dictionary, there is a list of general good wishes such as *vsego dobrogo* ‘all the kind’, *vsego lučšego/nailučšego* ‘all the best’, *vsego chorošego* ‘all the good’, *vsech blag* ‘all the benefits’, *bud’ zdorov* ‘stay healthy’. Interestingly, there are no instances of *chorošego dnja/večera* ([have] a good day/evening) that are quite common to hear nowadays during service encounters (Skrebcova 2023). Contrary to what can be assumed regarding the tendency to use loan words, the use of *adieu*, *arrivederci*, *bye-bye*, *salute*, and *ciao* has declined.

Finally, it is worth mentioning some formal situations in which saying goodbye is subject to a prior negotiation because the leaving person should ask for permission to go (*pozvol’te otklanjaj’sja?* ‘let me bow out’, *pozvol’te ujt’?* ‘may I take my leave?’) while their interlocutor grants this permission (*možete byt’ svobodnymi* ‘you can be free’). This holds for hierarchical relationships, which were not addressed in this study.

⁵ As a part of a parting ritual in Russia there is a tradition explained as follows: “Before you say farewell, you have to sit on your case. What happens is that the departing person sits down on or near the packed suitcase. [...] It is simply a few minutes’ reflection amongst people who will soon lose each other’s company” (Lundmark 2009: 114-115).

3. *A Pilot Study on Farewell Expressions in Russian*

3.1. *Data Collection and Informants*

This pilot study investigates ritual farewell formulas employed by a group of native speakers of Russian residing in the Russian Federation.

The instrument for data collection is a specially designed questionnaire comprising two parts. In the first part, a Discourse Completion Task (DCT) elicits a reply containing closing remarks in response to situational prompts. The DCT is an instrument of data elicitation widely used in pragmatic research (Felix-Brasdefer 2010). The language elicited is metapragmatic as the participants write down what they believe to be an appropriate response to the situation based on their experience (Golato 2003). In such a way, it serves the purpose to investigate what is expected to be said in a particular situation. The main disadvantages that DCTs present are their inability to capture actual social behavior or interactive dynamics. Being aware of the flaws of this instrument, the main idea here is to contribute to empirical studies on farewell formulas in the Russian language and to establish correlations between linguistic expressions and sociopragmatic variables.

The scenarios are chosen based on the following criteria:

- Level of acquaintance (a friend, colleagues of a friend, an ex-classmate, a random person in a queue);
- Intensity of contact (presumably often in contact, a social gathering, a short conversation, a small talk between strangers).

The expected time apart is unclear and not specified, although the potential for future interaction was implied in each situation.

Respondents were asked to provide farewell expressions in the following four scenarios and were instructed to opt out:

- (1) *Ty v aeroportu i provožaeš' svoego blizkogo druga/blizkujū podругu, kotoryj/kotoraja pereez-
žat po rabote v drugoj gorod. On/ona uže idet na posadku, i ty govoriš' emu/jej na proščanie:*
[You are at the airport to see off your close friend who is moving to another city for work. S/he is about to go to the gate and you say to him/her as a farewell]:
- (2) *Ty okazalsja v gostjach u kolleg svoego druga/svoej podругi v novogodnie prazdniki. Pered
uchodom, poblagodariv za užin, uže na poroge ty im govoriš':*
[During the New Year holidays, you ended up at the home of your friend's colleagues. Before you go, after thanking them for the dinner, you say at the doorstep]:
- (3) *Ty nenadolgo vernulsja v svoj gorod detstva/svoj byvsij rajon i slučajno vstretil na ulice
svoju odnosklassnicu/odnoklassnika, s kotoryj/kotorym ne obščaetes' so školy. Pogovoriv ne-
skol'ko minut ob obščich znakomych i nemnogo o rabote ili sem'e, vy rasstaëtes', i ty govoriš'
na proščanie:*

[You are back for a little while to your hometown/neighborhood you used to live in. Unexpectedly, you bump into your ex-classmate with whom you haven't spoken since your graduation. After you talked for a couple of minutes about your friends in common and a little about your life and family, you both part, and you say the following as a farewell]:

- (4) *V supermarkete, kuda ty obyčno chodiš' za pokupkami, dlinnaja očered'. Čelovek, kotoryj stoiť pozadi tebja, načinaet žalovat'sja po etomu povodu, ty podderživaš' besedu. Nakonec, vy načinaete vykladyvat' tovary na lentu. On podminaet slučajno upavšuju u tebja upakovku pečen'ja, ty ego blagodariš'. Rasplativšis' na kasse, ty govoriš' emu na proščanie:*

[At the supermarket you usually go to, you are waiting to pay in a long line. A person behind you starts to complain about it, and you participate in the conversation. Finally, you are about to put your groceries onto the belt. Accidentally, a pack of biscuits falls on the floor and the same person picks it up for you, you thank him/her. When you are done with the payment, you say the following as a farewell]:

The second part of the questionnaire consisted of two open-ended questions inquiring about words, expressions, or sayings that people think to say more often when saying goodbye to people they know and those they do not know:

- (1) *Kakie frazy, vyraženijsja ili slova tebe kažetsja, čto ty čašče vsego govoriš', kogda proščaeš'sja s neznakomymi ljud'mi?*

[Which phrases, expressions, or words do you think you often use when you say goodbye to people you do not know?]

- (2) *Kakie frazy, vyraženijsja ili slova tebe kažetsja, čto ty čašče vsego govoriš', kogda proščaeš'sja so znakomymi ljud'mi?*

[Which phrases, expressions, or words do you think you often use when you say goodbye to people you know?]

The questionnaire, created on Google Forms⁶, was piloted with five native Russian speakers to validate the questions from the point of view of plausibility and comprehension. It was then distributed by the researcher via social networks, WhatsApp groups, and among students of the Faculty of Philology at the Peoples' Friendship University of Russia "Patrice Lumumba". All participants are native speakers residing in the Russian Federation, primarily in the Moscow region. No data were collected on their occupation or educational background. The respondents are aged between 20 and 58, with the majority between 23 and 35 years old. Most of them (75%) are female, and 25% are male. A total of 57 anonymous responses were collected⁷.

⁶ <<https://forms.gle/2r1MxHJXCVXdScB86>> (last access: 10.01.2025).

⁷ The respondents did not leave any personal data.

3.2. *Analytical Framework*

To address the research question “What strategies of leave-taking behavior are attested in the contemporary Russian language?” all responses were manually coded according to the following framework derived from the literature review:

- 1) Pre-closing moves that mitigate the closing:
 - Express the need to cease the contact;
 - Express the pleasure of being in contact, gratitude, or apologies for taking time.
- 2) Post-closing moves that regulate future relationships:
 - Define a new encounter or express hope for a renewed contact;
 - Ask the interlocutor to be responsible for a renewed contact;
 - Express wishes for the interlocutor.
- 3) Actual formulas for terminal exchange.

To better understand the elusive nature of ritualized behavior, the framework was informed by the concept of the situated speech act, which is sensitive to social expectations and contextual factors (Mey 2001; Capone 2005). Accordingly, farewell formulas are specific both to the communicative situation and to the roles of the co-participants in the interaction. These include not only social variables, such as social distance and degree of confidence, but also situated identities, which can be enhanced and challenged based on the expectations of the other party. In the same vein, a situated speech act can be seen as a frame with fuzzy borders which is shaped by past interactions between the speakers, the setting of the exchange, and whether this act occurs for the first time or is repeated (Terkourafi 2005: 247), or, in our case, whether there is a possibility to see each other in the future. In such a way, both general conventions and personal expectations are responsible for enriching the utterance design, which helps to identify a correlation between conventionality and creativity within a common leave-taking ritual. It was hypothesized that while responses to specific scenarios would exhibit variation due to contextual nuance (Section 1), responses to general prompts about interactions with known and unknown people would display greater uniformity (Section 2).

4. *Results and Discussion*

This section presents the speech act set identified for each scenario in the DCT, followed by an interpretation of the conversational strategies observed. In brackets, token counts are provided for explicatory purposes. The findings are not intended to be statistically representative but serve to reveal recurring patterns and tendencies in conversational design.

In the first scenario, “A friend at the airport”, we can identify only post-closing moves which regulate future relationships:

- definition of a new contact or expression of hope for a new contact (16): *do vstreči* ‘see you next time’, *(skoro) uvidimsja* ‘we’ll see each other (soon)’, *na svjazi* ‘we’ll be in touch’;
- delegation of contact responsibility (8): *piši* ‘text me’, *zvoni* ‘call me’, *ne propadaj* ‘do not disappear’.

The most mentioned routine formulas are wishes (49 tokens) divided into two sub-categories:

- wishes for the person who is leaving (28): *chorošego/otličnogo/lëgkogo polëta*, ‘good/excellent/light flight’, *lëgkoj/mjagkoj posadki* ‘light/soft landing’, *chorošo doletet’/dobrat’sja* ‘to arrive/to get there well’.

Out of all the occurrences, only *mjagkoj posadki* ‘soft landing’, is mentioned in the dictionary of Balakaj (2004). The speakers do not rely on a pre-existing list of expressions and show creativity in coining wishes for a standard situation of a future plane trip. The prototypical construction of wishes with a performative verb *želat’* (omitted) + GEN or + a Pfv-infinitive allows variability in the use of modifiers: *chorošego/otličnogo/lëgkogo polëta*, ‘[have] a good/excellent/light flight’, *chorošo doletet’/dobrat’sja* ‘(wish) to arrive/get there well’.

- wishes for the person who is leaving for a long time (21): *udači* ‘good luck’, *pust’ vse složit’sja/polučitsja* ‘let everything be achieved’, *sčastlivo* ‘happy-ADV’, *beregi sebja* ‘take care’.

This situation suggests the expression of emotions that show affection for the interlocutor, such as occasionally mentioned *ja budu skučat’* ‘I will miss you’ and *ja ljublju tebjja* ‘I love you’.

Interestingly, terminal formulas like *poka* ‘bye’ are mentioned only 13 times.

To sum it up, the following speech act set was identified:

- define a new contact;
- express travel-related wishes;
- optionally express emotions about the separation.

In the second scenario, “New Year party”, the roles are inverted, as the speaker is the one departing and provides pre-closing moves. In a situation with a new acquaintance, expressing pleasure for being in contact for the first time comes more often than expressing hope for a new contact. Thus, the following are found:

- expressions of gratitude (24): *spasibo za gostepriimstvo/večer/priglašenje* ‘thank you for the hospitality/tonight/invitation’;

- expressions of pleasure for having had the encounter (15): *rada poznamomit'sja* 'I was glad to meet you', *prijatno bylo poznamomit'sja* 'it was pleasant to meet you';
- compliments (8): *vsě bylo super/očen' zdorovo/otlično* 'everything was super/very cool/excellent'.

Four respondents, however, expressed hopes for a new contact (*uvidimsja* 'we'll see each other', *nado čašče vstrečat'sja* 'we need to meet more often'). The wishes which are mentioned by the respondents are intrinsically linked to the situation described, as they are mostly happy New Year wishes.

Closing moves are used more often than in the previous situation (21 times), prompting the need to explicitly mention the goodbye formula when uttered by a person who is leaving.

To summarize, the following pattern is identified:

- express gratitude and pleasure for the time together;
- give compliments;
- use a closing formula.

In the third situation, "Classmate", respondents combined pre-closing and post-closing moves:

- expressions of pleasure for being in contact (27): *rada byla povīdat'sja/uvidet'sja/poobščat'sja/vstretit'sja/uvidet' tebja/vot tak uvidet'sja/vstreče* 'I was glad to see you/talk to you/meet you/meet you in such a way/for this meeting'.

The respondents use the structure "be glad Pfv-Infinitive" or "be glad + DAT" which is subject to variation.

- wishes (16): *udači* 'good luck', *sčastlivo* 'happy-ADV', *chorošego dnja* '[have] a good day';
- expressions of hope for a renewed contact (8): *uvidimsja* 'we'll see each other', *do vstreči* 'see you next time', *na svjazi* 'we'll be in touch'; or a delegation of contact responsibility (*piši* 'text me').

Finally, the closing formulas are expectedly informal (30 times), such as *poka* 'bye', *davaj* 'okay then', *poka-poka* 'bye-bye', *nu vsě davaj poka* 'well that's it, okay then', *nu poka* 'well, bye'.

We have a similar pattern as in the previous situation, probably due to a vague possibility of having future contacts. What changes, though, is the novelty of the formulas with which the gratitude for the time together is expressed. The respondents showed more creativity in this situation and provided different verbs and nouns in a fixed formula of pleasure expression, probably in correlation with the amount of time passed since graduation. We observed the following pattern:

- express pleasure at reconnecting;

TABLE 1.
Formulas used with unknown people

Formula	Tokens
<i>Do svidanija</i> 'goodbye'	36
<i>Vsego dobrogo/chorošego</i> 'all the kind/good'	25
<i>Chorošego dnja/večera</i> '[have] a good day/evening'	23
<i>Udači</i> 'good luck'	4
<i>Sčastlivo</i> 'happy-ADV'	3
<i>Eščë uvidimsja</i> 'we'll see each other again'	3
<i>Poka</i> 'bye'	4
Other (<i>na svjazi</i> 'we'll be in touch', <i>spasibo za vstreču</i> 'thanks for meeting', <i>do novych vstreč</i> 'see you next time')	3

101 responses

- make good wishes;
- optionally express hope for a new contact;
- use the closing formula.

For the last scenario, "Supermarket", an interesting observation concerns the possibility of avoiding the closing exchange. In fact, 15 respondents chose not to say anything upon parting, suggesting that leave-taking is considered optional in brief encounters with strangers. The remaining 42 respondents thanked the Hearer again for helping (10) and proceeded directly to the terminal exchange with *do svidanija* 'goodbye' (9) with or without general wishes (*chorošego dnja/večera* '[have] a good day/evening') (19) and *vsego dobrogo* 'all the kind' (9). There is no internal variability in the expressions chosen. This shows that the respondents are more prone to use fixed formulas when they talk to people they do not know.

We observed the following speech act set:

- Offer brief wishes;
- Use a conventional formula or no farewell at all.

It is worth mentioning that across all 285 responses, only 6% (17 responses) included a farewell formula *do svidanija* 'good bye' or *poka* 'bye' without any supportive moves.

In the open-ended responses, 101 expressions used with unknown people were gathered, as most of the respondents proposed more than one option (see TABLE 1).

TABLE 2.
Formulas used with known people

Move	Examples	Tokens
Express need to cease the contact	<i>my pobežali</i> 'we need to run'	1
Express pleasure for being in contact	<i>byla rada vstreče</i> 'I was glad to meet you' (4)	4
Define a new encounter or express hopes for a renewed contact	<i>do vstreči!</i> 'see you next time' (17), <i>uvidimsja!</i> 'we'll see each other' (5) <i>na svjazi</i> 'we'll be in touch' (4), <i>do zavtra</i> 'see you tomorrow' (2), <i>do skorogo</i> 'see you soon' (1), <i>spišemsja</i> 'we'll text each other' (1)	30
Ask the interlocutor to be responsible for a renewed contract	<i>napiši, kak budeš doma</i> 'text me when you get home', <i>pozvoni</i> 'call me'	2
Wish good for the interlocutor.	<i>chorošo dobrat'sja do doma</i> 'get home safe' (3), <i>ščastlivo</i> 'happy-ADV' (8), <i>chorošego dnja</i> '[have] a good day' (4), <i>udači</i> 'good luck' (1)	16
Terminal exchange	<i>poka</i> 'bye' (30) <i>poka-poka!</i> 'bye-bye' (10), <i>do svidanija!</i> 'good bye' (4), <i>davaj, poka</i> 'okay then bye' (2), <i>poka, davaj</i> 'bye okay then' (1), <i>pokasiki</i> 'bye-DIM-PL', <i>nu poka</i> 'well bye' (1)	49

102 responses

Almost half of the responses account for *do svidanija* 'goodbye' as a default option. However, we notice 23 occurrences of *chorošego dnja* '[have] a good day', which is not registered as a leave-taking formula in speech etiquette dictionaries. This fact could unveil a recent tendency to use wishes for a good day or evening in service encounters. There is a small incidence of wishes, such as *vsego dobrogo/chorošego* 'all the kind/good', *udači* 'good luck', *ščastlivo* 'happy-ADV', and even suggestions for a new encounter *eščë uvidimsja* 'we'll see each other again' or *na svjazi* 'we'll be in touch'.

As far as the farewell formulas addressed to known people are concerned, we can attest to more variability. In total, 102 responses were gathered, tagged as pre-closing and post-closing moves, as well as terminal exchange formulas (see TABLE 2).

We can deduce that face-enhancing strategies are more present in the interactions with people we know, as there are 30% of occurrences in which they define a new encounter to signal that the separation will not be long. Among closing formulas, the most mentioned is *poka* (30 times) with a smaller proportion of reiterated *poka-poka* 'bye-bye', *davaj* 'okay then', *pokasiki* 'bye-DIM-PL'. Interestingly, the wishes for the interlocutor in this case

include *ščastlivo* 'happy-ADV' (8 times), which was not attested with unknown people. While *chorošego dnja* '[have] a good day' is the second mentioned category of wishes used with strangers, the same formula is used only four times with acquaintances.

5. Conclusions

This study aimed to collect data on the pragmalinguistic means that native Russian speakers use before parting.

Firstly, the presumed verbal behavior of respondents varies according to the situational and relational constraints that bind two communicators. Although terminal formulas such as *poka* and *do svidanija* remain widely used, they are rarely employed in isolation. Instead, speakers supplement them with pre-closing and post-closing moves based on the degree of confidence, the length of time passed since the last encounter, and the expected length of separation. On the one hand, speakers use face-enhancing strategies to ensure the continuity of the relationship. On the other hand, if future encounters are not expected, the speakers may opt out of the leave-taking exchange.

Secondly, a leave-taking formula proves to be a standardized reaction to separation. However, the situation of parting does not possess static properties, as it is shaped and negotiated by the interactants' relationship history. Even if the leave-taking patterns observed in this study are traceable, they remain situationally bound. Possible variability may concern the symmetry of the parting, whether the Speaker or the Hearer is about to leave, or whether both need to negotiate the separation. The options available to respondents do not necessarily correspond to the list of expressions found in etiquette dictionaries. Standard leave-taking situations described in such dictionaries (e.g., guests leaving the house, someone going on a trip) still require consideration of interpersonal variables, especially in emotionally charged contexts.

Thirdly, the boundaries between etiquette formulas and supportive moves are blurred. It is necessary to explore the epistemic status of conventional wishes (*chorošego dnja* '[have] a good day', *udači* 'good luck', *vsego dobrogo* 'all the kind') and arrangements (*do vstreči* 'see you next time', *uvidimsja* 'we'll see each other') along with the routine terminal formulas (*do svidanija* 'goodbye', *poka* 'bye'). The present study argues that the former expressions may lose the illocutionary force of expressives (the speaker wishes that P comes true) or commissives (the speaker commits to the future action P). This suggests they may instead serve to signal a benevolent attitude and/or cohesiveness before separation, thereby fulfilling a specific leave-taking function.

Finally, the study attested politeness routines not previously mentioned in speech etiquette dictionaries. These include *chorošego dnja/večera* '[have] a good day/night', which appears to be used predominantly with strangers, and *na svjazi*⁸ 'we'll be in touch', which

⁸ Note that this formula is used by Bec (2021) with a different preposition *do svjazi* which proves the flexibility of farewell formulas.

occurs sporadically across the described situations. Although the reasons why these formulas have entered Russian speech behavior lie beyond the scope of our study, it can be noted that *spišemsja* ‘we’ll text each other’ may now function as a contemporary alternative to *uvidimsja* ‘we’ll see each other’ or *sozvonimsja* ‘we’ll call each other’ reflecting the influence of communication via messaging apps.

As outlined in previous empirical studies, discourse markers such as *nu*, *vsë*, *ladno*, and *davaj* often co-occur with a standard leave-taking formula *poka*, producing a range of extended formulaic expressions as *nu vsë poka*, *nu poka*, *ladno davaj poka*, *davaj poka*, *poka davaj*.

The rationale behind choosing appropriate strategies is highly relevant to foreign language learning and teaching. Arguably, the ritual formulas such as *poka* and *do svidanija* typically presented in formal and informal registers do not spark any explanatory discussions. As the study demonstrates, various moves associated with leave-taking behavior should be considered to enhance learners’ communicative competence. This includes recognizing the limited reliability of speech etiquette dictionaries, which do not always reflect actual verbal behavior. Pragmatic reasoning should guide the choice of strategy that best suits a particular communicative situation.

The analysis has certain limitations. First, there is a need to engage more participants to provide statistically robust data on leave-taking behavior. Second, the results should be correlated with spontaneous speech data. Nevertheless, the findings of this pilot study offer insight into current tendencies in Russian leave-taking behavior and provide practical implications for teaching Russian as a foreign language.

Literature

- Adato 1975: A. Adato, *Leave-Taking: a Study of Commonsense Knowledge of Social Structure*, “Anthropological Quarterly”, XLVIII, 1975, pp. 255-271.
- Aijmer 1996: K. Aijmer, *Conversational Routines in English*, London 1996.
- Ameka 1999: F.K. Ameka, *Partir c’est mourir un peu. Universal and culture-specific features of leave-taking*, “RASK”, IX-X, 1999, pp. 257-283.
- Baehren 2022: L. Baehren, *Saying “Goodbye” to the Conundrum of Leave-Taking: a Cross-Disciplinary Review*, “Humanit Soc Sci Commun”, 2022, 9 (46), DOI: doi.org/10.1057/s41599-022-01061-3.
- Balakaj 2004: A.G. Balakaj, *Slovar’ russkogo rečevogo etiketa*, Moskva 2004.
- Bec 2021: Ju.V. Bec, *Funkcional’naja dinamičnost’ etiketnyh form russkogo jazyka v aspekte lingvodidaktiki*, “Gumanitarnye i social’nye nauki”, 2021, 1 (84), pp. 27-41.
- Betholia 2009: C. Betholia, *Entries and Exits: an Analysis of Greetings and Leave-Taking in Meitei Speech Community*, “Journal of Southeast Asian Languages and Cultures”, XXXVIII, 2009, pp. 105-116.

- Bobrik 2021: M.A. Bobrik, *Pragmaticalization mechanisms in the history of Russian farewell formula sčastlivo*, "Voprosy jazykoznanija", 2021, 1, pp. 70-83.
- Bryant 2008: E. Bryant, *Real Lies, White Lies, and Gray Lies: Towards a Typology of Deception*, "Kaleidoscope: A Graduate Journal of Qualitative Communication Research", VII, 2008, pp. 23-48.
- Capone 2005: A. Capone, *Pragmemes (a Study with Reference to English and Italian)*, "Journal of Pragmatics", XXXVII, 2005, 9, pp. 1355-1371.
- Clark, French 1981: H. Clark, J.W. French, *Telephone Goodbyes*, "Language in Society", x, 1981, 1, pp. 1-19, DOI: doi.org/10.1017/S0047404500008393.
- Clark 1985: H. Clark, *Language Use and Language Users*, in: G. Lindzey, E. Aronson (eds.), *Handbook of Social Psychology: Special Fields and Applications*, New York 1985, pp.179-232.
- Coulmas 1981: F. Coulmas, *Conversational Routine*, The Hague 1981.
- Chučinaeva 2017: D.D. Chučinaeva, *Formuly privetstvuj i proščanij kak representanty kognitivnoj struktury blagopoželanij*, "Innovacii, tehnologii, nauka", 2017, pp. 130-134.
- Čurejeva 2020: O. Čurejeva, *Aktual'nyje rečevye etiketnye formuly proščanija v russkom i anglijskom jazykach: funkcional'nyj aspekt*, in: I. Koptelova (ed.), *New World, New Language, New Thinking*, Moskva 2020, pp. 157-162.
- Dorfman 2012: I. Dorfman, *Pasport rečevogo žanra privetstvija i proščanija*, "Naučnaja mys' Kavkaza", 2012, pp. 1-12.
- Ermolova et al. 2019: O. Ermolova, N.V. Bogdanova-Beglarjan, *Linguistic Design of "Goodbye" Situation in Modern Colloquial Speech (Based on the Material of the Speech Corpus "One Speaker's Day")*, "Communication Studies (Russia)", VI, 2019, 2, pp. 307-331. DOI: doi.org/10.25513/2413-6182.2019.
- Félix-Brasdefer 2010: C. Félix-Brasdefer, *Data Collection Methods in Speech Act Performance*, in: A. Martinez-Flor, E. Usò-Juan (eds.), *Speech Act Performance: Theoretical, Empirical and Methodological Issues*, Amsterdam 2010, pp. 69-82.
- Ferguson 1981: C. Ferguson, *The Structure and Use of Politeness Formulas*, in: F. Coulmas (ed.), *Conversational Routine*, The Hague 1981, pp. 21-37.
- Firth 1972: R. Firth, *Verbal and Bodily Rituals of Greeting and Parting*, in: J.S. LaFontaine (ed.), *The Interpretation of Ritual*, London 1972, pp. 1-39.
- Flanzer 2019: V. Flanzer, *The Pragmatics of Greetings and Leave-Takings in Brazil and the United States: a Cross-Cultural Study*, Austin 2019.
- Formanovskaja 2002: N.I. Formanovskaja, *Rečevoe obščenie: kommunikativno-pragmatičeskij podchod*, Moskva 2002.

- Gladrov 2014: W. Gladrov, *Rečevye žanry 'privetstvie' i 'proščanie' v sovremennom nemeckom i russkom jazykach*, "Vestnik Čerepoveckogo Gosudarstvennogo Universiteta", 2014, 3, pp. 69-74.
- Goffman 1967: E. Goffman, *On Face-Work*, in: Id. (ed.), *Interaction Ritual*, New York 1967, pp. 5-45.
- Golato 2003: A. Golato, *Studying Compliment Responses: a Comparison of DCTs and Recordings of Naturally Occurring Talk*, "Applied Linguistics", XXIV, 2003, 1, pp. 90-121.
- Grabovskaja et al. 2018: M. Grabovskaja, E. Gridněva, A. Vlachov, *Politeness Strategies of Russian School Students: a Quantitative Approach to Qualitative Data. Working Paper of Series Linguistics*, Moskva 2018, cfr. <<https://wp.hse.ru/data/2018/12/05/1144203385/68LNG2018.pdf>> (last access: 03.02.2025).
- Graudina, Širjaev 2008: L. Graudina, E. Širjaev, *Kul'tura razgovornoj reči*, Moskva 2008.
- Grice 1975: P. Grice, *Logic and Conversation*, in: P. Cole, L. Morgan, *Syntax and Semantics*, III, Cambridge 1975, pp. 41-58.
- Ishihara, Cohen 2022: N. Ishihara, A.D. Cohen, *Teaching and Learning Pragmatics: Where Language and Culture Meet*, London 2022.
- Judd 1999: E. Judd, *Some Issues in the Teaching of Pragmatic Competence*, in: E. Hinkel, *Culture in Second Language Teaching and Learning*, New York 1999, pp. 152-166.
- Knapp et al. 1973: M. Knapp, R.P. Hart, G.W. Friedrich, G.M. Shulman, *The Rhetoric of Goodbye: Verbal and Nonverbal Correlates of Human Leave-Taking*, "Speech Monograph", XL, 1973, pp. 182-98.
- Kokhan 2011: O. Kokhan, *Speech Etiquette as a Reflection of Characteristic Features of the Communicative Process in Russian and German Culture*, "Učēnye zapiski Komsomol'k-na-Amure Gosudarstvennogo Techničeskogo Universiteta", 2011, 2 (7), pp. 46-51.
- Krongauz 2017: M.A. Krongauz, *Russkij jazyk na grani nervnogo sryva*, Moskva 2017.
- Krongauz 2021: M.A. Krongauz, *Formula proščanija "davať" v sinchronnom i diachronnom aspektach*, "Russkij jazyk za rubežom", 2021, 2, pp. 40-43.
- Laver 1981: J. Laver, *Linguistic Routines and Politeness in Greeting and Parting*, in: F. Coulmas (ed.), *Conversational Routines*, The Hague 1981, pp. 289-304.
- Leech 2014: G. Leech, *The Pragmatics of Politeness*, Oxford 2014.
- Lukojanova 2011: Y.K. Lukojanova, *Osnovnye izmenenija v russkom rečevom etikete na rubeže XX-XXI vekov*, "Učēnye zapiski Kazanskogo Universiteta", CLIII, 2011, 6, pp. 227-233.
- Lundmark 2009: T. Lundmark, *Tales of Hi and Bye. Greeting and Parting Rituals Around the World*, Cambridge 2009.

- Martinez-Flor, Usò-Juan 2010: A. Martinez-Flor, E. Usò-Juan, *Speech Act Performance: Theoretical, Empirical and Methodological Issues*, Amsterdam 2010.
- Meibauer 2017: J. Meibauer, "Western" Grice? *Lying in a Cross-Cultural Dimension*, in: I. Kecskes, S. Assimakopoulos (eds.), *Current Issues in Intercultural Pragmatics*, Amsterdam 2017, pp. 33-52.
- Mey 2001: J. Mey, *Pragmatics: an Introduction*, Oxford 2001.
- Pachomova 2012: I.N. Pachomova, *Novye processy v russkom rečevom etikete*, "Vestnik RUDN. Voprosy obrazovanija, jazyki i special'nost'", 2012, 3, pp. 62-67.
- Pachomova et al. 2020: I.N. Pachomova, E.S. Bričenkova, O.N. Buckaja, *New Phenomena in Russian Speech Etiquette in Greetings and Farewell Usage (on Materials of Mass Media and Online Communication)*, "Revista Inclusiones", VII, 2020, pp. 436-444.
- Pinto 2011: D. Pinto, *Are Americans Insincere? Interactional Style and Politeness in Everyday America*, "Journal of Politeness Research", VII, 2011, pp. 215-238.
- Poliščuk, Godrati 2022: A.I. Poliščuk, A. Godrati, *Formuly privetstvija i proščanija v rečevom etikete iranojazyčnoj sredy*, "Izvestija SOIGSI", 2022, 45 (84), pp. 71-81.
- Rabenko, Čerepanova 2008: T.G. Rabenko, E.A. Čerepanova, *Žanry privetstvija i proščanija v reči studentov*, "Vestnik Kemerovskogo Gosudarstvennogo Universiteta", 2008, 2, pp. 174-179.
- Rachilina et al. 2021: E.V. Rachilina, P.A. Byčkova, S.Ju. Žukova, *Rečevye akty kak lingvističeskaja kategorija: diskursivnye formuly*, "Voprosy jazykoznanija", 2021, 2, pp. 7-27.
- Schegloff, Sacks 1973: E. Schegloff, H. Sacks, *Opening Up Closings*, "Semiotica", VIII, 1973, pp. 289-327.
- Searle 1969: J. Searle, *Speech Acts: an Essay in the Philosophy of Language*, Cambridge 1969.
- Skrebcova 2023: T. Skrebcova, *Staroe i novoe v sisteme russkich etiketnyh formul privetstvija i proščanija (na materiale konstrukcij 'prilagatel'noe + suščestvitel'noe')*, "Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta", 2023, 486, pp. 50-57, DOI: doi.org/10.17223/15617793/486/5.
- Sulejmanova 2018: L. Sulejmanova, *Formulas of Greeting and Farewell in the English and Russian Languages*, in: E. Seměnova (ed.), *Problemy inojazyčnogo obrazovanija*, Krasnojarsk 2018, pp. 56-61.
- Terkourafi 2005: M. Terkourafi, *Beyond the Micro-Level in Politeness Research*, "Journal of Politeness Research", I, 2005, 2, pp. 237-262.
- Thomas 1983: J. Thomas, *Cross-Cultural Pragmatic Failure*, "Applied Linguistics", IV, 1983, pp. 91-112.
- Voroncova 2011: T. Voroncova, *Kul'tura reči. Učebnoe posobie*, Izhevsk 2011.

- Vvedenskaja *et al.* 2001: L. Vvedenskaja, L. Pavlova, E. Kashaeva. *Russikij jazyk i kul'tura reči*, Rostov-na-Donu 2001.
- Watts 1992: R. Watts, *Linguistic Politeness and Politic Verbal Behavior: Reconsidering Claims for Universality*, in: Id. (ed.), *Politeness in Language: Studies in Its History, Theory and Practice*, Berlin 1992, pp. 43-70.
- Wolfson 1983: N. Wolfson, E. Judd, *Sociolinguistics and Language Acquisition*, "Language in Society", XV, 1983, 1, pp. 99-101, DOI: doi.org/10.1017/S0047404500011672.
- Yates 2004: L. Yates, *The 'Secret Rules of Language': Tackling Pragmatics in the Classroom*, "Prospect", XIX, 2004, 1, pp. 3-21.
- Yorio 1980: C. Yorio, *Conventionalized Language Forms and the Development of Communicative Competence*, "TESOL Quarterly", XIV, 1980, 4, pp. 433-442.

Abstract

Victoriya Trubnikova

Leave-Taking Formulas in Contemporary Russian Language

This article investigates leave-taking strategies behavior in contemporary Russian. After reviewing recent literature on leave-taking formulas, with a particular focus on Russian, the article presents the results of a pilot study examining farewell expressions and conversational moves. Data were collected using a purpose-designed questionnaire that elicited situationally bound responses and compiled a pool of words, expressions, and sayings that speakers reported using when saying goodbye to both acquaintances and strangers. The results support the hypothesis that parting interactions are context-sensitive rather than fixed. The choice of terminal exchange formulas and supportive moves varies depending on factors such as the degree of familiarity, the time elapsed since the previous encounter, and the anticipated duration of separation.

Keywords

Leave-Taking Formulas; Russian Language; Politeness; Conventionality; Ritual Behavior.

**MATERIALI
E DISCUSSIONI**

Rosanna Casari
Elda Garetto

Il contributo di Nina Kaucisvili allo studio della cultura e della spiritualità russa

Lo scorso anno è stata pubblicata in una delle collane di Slavistica dell'Università di Tartu la traduzione russa di una monografia di Nina Kaucisvili (1919-2010), dedicata ai viaggi di P.A. Vjazemskij in Italia e ai suoi contatti con il mondo dell'arte e della cultura italiana a partire dagli anni Trenta sino agli anni Sessanta dell'Ottocento (Kaucisvili 2024). Il volume, realizzato grazie all'impegno congiunto dei colleghi estoni e italiani, ripropone in una versione rivista uno studio pionieristico nella tematica dei rapporti culturali italo-russi. Insieme alla più nota monografia di Lo Gatto sui Russi in Italia (Lo Gatto 1971), agli studi di Angelo Tamborra e Pietro Cazzola, questo lavoro avrebbe dato impulso a tutto un filone di ricerche successive, basate sulla presenza e sul contributo culturale dei russi in Italia. La monografia su Vjazemskij, pur non potendo competere con quella di Lo Gatto per l'exkursus cronologico e il numero di personalità analizzate, è tuttavia da considerarsi innovatrice, in primo luogo per la scelta di dedicare la ricerca a un protagonista meno studiato della letteratura russa della prima metà dell'Ottocento, di studiarne i contatti non solo con i rappresentanti della cultura italiana, ma di approfondire i rapporti culturali tra Russia e Europa della prima metà del XIX secolo, una stagione di straordinaria circolazione di saperi. Il volume approfondisce gli itinerari dei viaggi italiani di Vjazemskij, a partire dal doloroso esordio romano, segnato dalla malattia e dalla morte della figlia, i contatti con i salotti internazionali fiorentini e romani e i diversi ambiti in cui lo scrittore si accostò alla cultura italiana, a partire dalla lingua e letteratura, per soffermarsi sulla pittura, architettura e soprattutto sulla musica, l'arte che più lo appassionava. Il ricorso a un consistente apparato di testi in gran parte inediti (taccuini di viaggio, corrispondenza privata) e fonti a stampa dell'epoca, arricchisce la monografia e fa emergere una personalità dotata di uno straordinario spirito di osservazione, acume, umorismo, sollecitando una più attenta valutazione del ruolo di Vjazemskij nel milieu culturale russo di metà Ottocento. La recente traduzione russa conferma il perdurare della validità scientifica di questo testo e di una particolare metodologia di ricerca, estesa da Nina Kaucisvili a tutta una serie di studi dello stesso periodo che mettevano in rilievo il ruolo di mediatori culturali di alcune personalità della cerchia di Vjazemskij come Zinaida Volkonskaja (Kaucisvili 1966) e Darja Fiquelmont (Kaucisvili 1968). Ancor prima Nina Kaucisvili aveva approfondito il ruolo di alcune figure rappresentative della cultura italiana per i rapporti con la Russia come Alessandro Manzoni (Kaucisvili 1962) e Silvio Pellico (Kaucisvili 1963), offrendo agli studiosi dei rap-

porti culturali tra la Russia e l'Italia numerosi esempi di una ricerca d'archivio approfondita, unita all'ampiezza dello studio culturale. Questi studi segnano la prima fase dell'attività scientifica di Nina Kaucisvili, precedente al conseguimento della docenza universitaria.

Nel tratteggiare il suo profilo non si possono trascurare le origini (padre georgiano e madre russa) e l'attaccamento alla Georgia di cui parla in un'intervista: "Eravamo georgiani cattolici, un gruppo etnico piccolo con tradizioni specifiche. [...] È la terra di Medea, legata a tradizioni greche. La mia era una famiglia di giuristi originaria di Kutaisi. Mio nonno era andato in Inghilterra per difendere una gilda di commercianti georgiani e ha vinto il processo. E la piccola Kutaisi si è aperta verso l'Europa. Una mia cugina aveva fondato il primo ginnasio femminile" (Burini, Piretto 2004: 9). Nell'intervista Kaucisvili ripercorre gli anni trascorsi a Berlino, dove la famiglia era emigrata nel 1918, fino ai primi anni degli studi universitari in filologia romanza, interrotti dall'aggravarsi della pressione del nazismo. Trasferitasi con la famiglia a Milano, completa gli studi all'Università Cattolica. La storia familiare, le esperienze precedenti al suo trasferimento in Italia e una cultura di ampio respiro rappresentano l'humus su cui si innesta e si nutre il suo interesse per la letteratura russa. Approdata agli studi di slavistica dopo l'esperienza dell'insegnamento della lingua francese, Nina Kaucisvili aveva iniziato la carriera accademica all'Università Cattolica; aveva insegnato poi alle Università di Bari e Torino. Nel 1968 Vittore Branca, in qualità di Presidente del Comitato Ordinatore del nuovo Istituto Universitario di Bergamo, l'aveva chiamata a coprire l'insegnamento di Lingua e Letteratura russa. Nacque così l'Istituto di Slavistica, animato per alcuni decenni dalle idee innovative della sua coordinatrice, a partire dalla fondazione, nel 1970, del Seminario Internazionale di Lingua russa, un'istituzione unica in tutto il panorama della russistica italiana, in quanto si avvaleva di docenti provenienti da importanti centri di didattica della lingua russa dell'allora Russia sovietica ma anche da docenti 'emigrati' in Francia, Italia, Inghilterra, per garantire agli allievi non solo la presenza di esperti qualificati, ma anche una pluralità di punti vista, cifra costante di tutta la sua attività didattica, scientifica e organizzativa.

Tra la fine degli anni Sessanta e i primi Settanta Nina Kaucisvili affronta nei corsi e nelle pubblicazioni l'analisi dei grandi classici: soprattutto Gogol', Gončarov, Turgenev e Dostoevskij, ma lo fa da una prospettiva nuova. Se da un lato prosegue la tematica russo-italiana, come nel suo ampio *Turgenev e l'Italia* (Kaucisvili 1977), dall'altro introduce e sperimenta nei suoi corsi alcuni testi critici innovativi, come il *Dostoevskij* di Bachtin, appena pubblicato in Italia. Il dibattito acceso di quegli anni tra le varie tendenze degli studi linguistici e letterari, sulle teorie formaliste e strutturaliste, non sfugge alla curiosità intellettuale di Nina Kaucisvili, che si cimenta e fa cimentare i suoi allievi con le teorie di Šklovskij, Tynjanov, Ejchembaum. Infatti, il filo conduttore della sua attività didattica e scientifica, fin dagli inizi, è la ricerca e il confronto di strumenti di lettura e di approfondimento di una letteratura che ai suoi occhi si presentava eccessivamente condizionata da un approccio tradizionalistico o dagli orientamenti limitati e censori della critica sovietica. Da qui la grande attenzione per le teorie contemporanee, la volontà di liberarsi da una certa consuetudine didattica affidata quasi interamente ai manuali o a una critica interpretativa

o storicistica. Grande attenzione viene dedicata anche alla linguistica saussuriana applicata all'analisi del testo letterario. Come ricordava nell'intervista già citata: "L'evoluzione dei metodi di approccio al testo nella seconda metà del secolo scorso, dal formalismo allo strutturalismo alla semiologia, ha dato grandi stimoli e possibilità di rinnovamento. Per me l'approccio al testo resta fondamentale. Tutto è basato sul testo. Nel testo sta la concretezza da cui partire" (Burini, Piretto 2004: 11).

I primi anni Settanta sono anche quelli della 'scoperta' degli studi di Jurij Lotman e della scuola di Tartu: il primo corso monografico dedicato alle teorie lotmaniane sulla struttura del testo poetico coincide con l'uscita della traduzione italiana del testo omonimo (Lotman 1972). Da allora ogni nuovo contributo lotmaniano veniva accolto con grande curiosità e diventava tema di studio e confronto. Un approfondimento particolare viene dedicato alle teorie della semiosfera applicata ai processi culturali. Gli studi strutturalistici e semiotici di Lotman la portano allora ad approfondire il concetto di *sdvig* (slittamento) come fattore caratterizzante la storia e la cultura letteraria e artistica russa.

Le teorie di Lotman costituivano non solo il fondamento dei suoi corsi, ma anche l'argomento ricorrente dei seminari settimanali che si tenevano all'interno dell'istituto tra colleghi, giovani collaboratori e dottorandi: una pratica poco consueta nell'accademia italiana, che dimostrava la grande apertura alla discussione e alla condivisione dei temi e dei metodi di ricerca. La collaborazione diretta con il dipartimento diretto da Lotman avrà inizio solamente con la *perestrojka* e l'accessibilità di Tartu agli stranieri.

I suoi primi corsi si concentrano dunque prevalentemente sui classici ottocenteschi, ma con una prospettiva nuova, come il corso e i saggi su Turgenev, dove, tra l'altro, analizza la funzione del gesto secondo le teorie strutturaliste. Degli autori dell'Ottocento non trascura figure considerate minori e scarsamente studiate in Italia, come Nikolaj Leskov, a cui dedica corsi e saggi, ma rivolge un'attenzione costante all'opera di Dostoevskij, su cui aveva avviato studi approfonditi, ripensando, in relazione alle sue opere, tutte le più valide teorie interpretative che entravano nell'orbita dei suoi studi. Lo scrittore russo rappresenta così una cartina al tornasole delle sue indagini intellettuali e spirituali, quasi un imperativo estetico-morale. Nel 1980 porta all'Università di Bergamo l'organizzazione del IV Simposio della più autorevole associazione internazionale di studi dostoevskiani, l'International Dostoevsky Society, della quale sarà poi vicepresidente onorario. Intervenero non solamente i maggiori studiosi dostoevskiani americani, russi ed europei, ma anche celebri critici letterari quali René Wellek, il quale, in una relazione che suscitò un animato dibattito, polemizzò con le teorie interpretative dell'opera dostoevskijana di Bachtin, fondate sui concetti di 'polifonia' e 'carnevalizzazione'.

Oltre ai grandi classici dell'Ottocento, Nina Kaucisvili si occupò largamente dei poeti, narratori, pensatori del 'secolo d'argento', orientandosi da un lato verso autori le cui opere erano riuscite a giungere in occidente superando le barriere della censura sovietica, come Achmatova e Mandelštam – ma anche Pasternak e Bulgakov – dall'altro verso rappresentanti fino ad allora meno studiati del Simbolismo russo. Nacque così l'interesse per l'opera di Andrej Belyj, una vera e propria scoperta per l'Italia. A Belyj furono dedicati a Berga-

mo tre convegni (1984, 1986 e 1987), ai quali parteciparono i maggiori studiosi europei, americani e sovietici, che affrontarono molti aspetti dell'opera dell'autore russo, compresa l'autobiografia e i saggi critici. Negli stessi anni Ottanta furono organizzati presso l'Istituto di Slavistica convegni sul Simbolismo e le avanguardie, focalizzati sull'opera di Fedor Sologub, Elena Guro e altri. Con queste iniziative Nina Kaucisvili intendeva approfondire la tematica della 'sintesi delle arti' come uno degli aspetti fondanti dello straordinario periodo artistico del primo Novecento, anche sulla scia delle idee proposte da Kandinskij nell'opera *Lo spirituale nell'arte*, e dedicò molta attenzione a quest'aspetto del mondo artistico russo, come dimostrano i saggi *Gogol' pittore e ritrattista* (Kaucisvili 1983a), *La musica e il testo letterario* (Kaucisvili 1983b), *Borisov-Musatov-živopisec i Andrej Belyj* (Kaucisvili 1992a).

L'epoca del Simbolismo russo con il suo ampio spettro di interessi verso le arti, la filosofia, gli studi religioso-filosofici, che si rispecchiavano anche negli innumerevoli e variegati circoli culturali delle due capitali russe, diede a Nina Kaucisvili spunti per nuovi studi e ricerche. Entrò allora stabilmente nel suo orizzonte di indagini la filosofia di Vladimir Solov'ev e dei filosofi religiosi Berdjaev, Ern, Sergej Bulgakov, che la portò ad approfondire le differenze tra il pensiero sistematico occidentale e quello russo, a iniziare da Grigorij Skovoroda, la cui singolarità di vita e di idee l'avevano profondamente colpita. Nel novero dei filosofi e teologi russi dell'inizio del Novecento spicca la personalità di Pavel Florenskij, mente enciclopedica, geniale fisico e matematico, studioso delle arti figurative, poeta, filosofo e teologo, nonché presbitero ortodosso. Florenskij rappresentò per Nina Kaucisvili una vera rivelazione. L'incontro con il pensiero florenskiano era avvenuto tramite la lettura dei saggi *Le porte regali. Studio sull'icona*, e *La prospettiva rovesciata*, quest'ultimo coraggiosamente pubblicato da Jurij Lotman nella rivista dell'Università di Tartu (Florenskij 1967). Nella profonda attenzione per le idee di Florenskij confluivano le sollecitazioni sorte dalle precedenti ricerche nel campo delle teorie semiotiche di Lotman, la riflessione sul concetto di simbolo e sulle dinamiche dell'atto creativo. L'ambito sconfinato degli studi florenskiani apriva nuove vie di ricerca e nuove istanze culturali, pertanto nel 1988, insieme ai collaboratori dell'Istituto di slavistica, Nina Kaucisvili decise di organizzare un grande convegno dedicato a Florenskij e la cultura del suo tempo (Hagemeister, Kauchtschischwili 1995). Il convegno vide confluire nella piccola Bergamo Alta studiosi europei, americani e sovietici, fra questi ultimi anche molti esponenti del mondo religioso ortodosso e rappresentò una pietra miliare nello sviluppo degli studi florenskiani. Nina Kaucisvili era profondamente attratta dalla personalità di Florenskij, in particolare dalla sua continua ricerca tesa a scoprire la natura del simbolo inteso come rapporto tra il visibile e invisibile, concetto centrale della cultura russa nel pensiero florenskiano e in alcuni degli autori prediletti come Andrej Belyj.

Le teorie della molteplicità dei punti di vista, sviluppate nei saggi sull'icona e sulla prospettiva rovesciata le suggerivano anche nuove metodologie di lettura e analisi dei testi letterari, sia nel proprio lavoro di studiosa sia nell'attività di docente. Aveva infatti trovato una conferma al suo metodo di insegnamento volto a coinvolgere gli studenti in un dialogo e in confronto continui, proprio in uno scritto del filosofo russo dedicato al rapporto tra *Lekcija e lectio* (Florenskij 1917: 2-5).

È significativo che il primo lavoro di Nina Kaucisvili che recepisce le teorie florenskiane sia dedicato a Dostoevskij (Kaucisvili 1982). Florenskij e Dostoevskij saranno presenze costanti nei suoi studi che passano dall'uno all'altro come se le loro opere si chiarissero a vicenda, a iniziare dal saggio del 1982 fino all'articolo *V tvorčeskoj laboratorii Velikogo inkvizitora* (Kaucisvili 2009), che individua nell'accento sulla dimensione spaziale della 'verticalità' un punto di contatto fra il pensiero di questi due grandi russi.

Tra le opere di Florenskij, Nina Kaucisvili predilige *Smysl idealizma e Organoproekcija*. La prima per quella teoria del "sì alla vita" e dell'"energia dinamica" che stanno all'origine dell'atto creativo e *Organoproekcija* per la visione della tecnica come proiezione degli organi del corpo umano e per la concezione di un legame intimo tra interno organico e esterno-tecnico. Non trascurava tuttavia i tanti altri aspetti del variegato mondo culturale florenskiano, quali la sua produzione letteraria. Aveva infatti fatto tradurre e pubblicare con sua prefazione l'agiografia *Il sale della terra. Vita dello starec Isidoro* (Kaucisvili 1992b) e commentato il poemetto *Oro*, scritto da Florenskij durante la detenzione alle isole Solovki (Kaucisvili 2007). Ma, sin dalla fine degli anni Ottanta, Nina Kaucisvili aveva inteso ricondurre a una sintesi i molti aspetti dell'opera florenskiana, una visione unitaria che evidenziasse il concetto di *celostnost'* e che comprendesse quelli di *vseedinstvo e sobornost'*.

L'interesse per la spiritualità russa l'aveva portata anche ad approfondire il tema del rapporto tra monachesimo e cultura laica, organizzando un convegno su Optina Pustyn' nel 1990 (Kauchčisvili, Boneckaja 1993). Altri convegni di ampia risonanza per la comunità accademica furono quelli su *Literaturnyj tekst i sosednie kul'turnye rjady e Literatura i territoria* (Pesenti et al. 2000). Una costante degli studi di Nina Kaucisvili è rappresentata infatti dal dibattito sull'idea di spazio inteso nelle sue più diverse accezioni: come spazio geometrico, come campo dell'opposizione verticalità / orizzontalità e come spazio geografico. Per i suoi studi su quest'ultima accezione di spazio, considerava un punto di partenza il celebre riferimento di Berdjaev in *Russkaja ideja* sulla corrispondenza tra l'immensa, illimitata terra russa e l'anima russa, tra la geografia fisica e la geografia dell'anima. L'affermazione di Berdjaev era divenuta quasi un leitmotiv nelle considerazioni sullo spazio geografico russo in scrittori quali Gogol', Dostoevskij, Turgenev, Leskov, e l'aveva portata a delineare l'idea di una 'geografia interiore' propria della visione del mondo di questi scrittori, come lei stessa afferma nell'articolo *Geografija, libo chudožestvennaja kanva 'Besov' Dostoevskogo* (Kaucisvili 2000). Nell'ambito degli studi dedicati allo spazio geografico, dal 1997, sempre per iniziativa di Nina Kaucisvili allora già professore emerito dell'Università di Bergamo, l'Istituto di Slavistica aveva collaborato attivamente a un progetto di ricerca avente per tema la provincia russa, argomento molto vasto che coinvolgeva letterati, storici, geografi e studiosi del folklore. A Tver', Elec, Perm' e sul Volga si svolsero in anni successivi i più significativi convegni dedicati al ruolo della provincia nella cultura russa, mentre il testo che riunisce gli atti dei primi tre convegni (1997, 1998 e 1999), il volume *Russkaja provincija: mif-tekst-real'nost'* (Belousov, Civ'jan 2000) è divenuto una guida fondamentale per gli studi in tale campo.

Numerose, dunque, le tappe della storia di quella che è stata poi definita ‘scuola di Bergamo’, la cui peculiarità consisteva da un lato nell’approfondimento teorico e metodologico di testi e autori di grande rilevanza e insieme nella volontà di organizzare occasioni di dibattito e confronto tra specialisti di livello internazionale, così che chi ha studiato o collaborato con Nina Kaucisvili non può non ricordare queste occasioni veramente preziose per allargare gli orizzonti. Alla sua scuola si sono formati specialisti di studi letterari e culturali, sull’arte, antica e moderna, fini interpreti degli intrecci tra letteratura e musica, ma anche studiosi di altre discipline, come è emerso nel convegno dedicato alla sua eredità scientifica e lascito culturale organizzato dall’università di Bergamo in occasione del centenario della nascita.

Nell’ultimo decennio della sua attività di ricerca, Nina Kaucisvili era tornata a Lotman e aveva rivolto un’attenzione tutta particolare alle teorie dell’ultimo Lotman che elaboravano il concetto di ‘esplosione’, inteso come momento che interrompe la catena delle cause e degli effetti e proietta in superficie un insieme di eventi parimenti probabili, fra i quali è impossibile dire, in linea di principio, quale si realizzerà. L’esplosione permette di superare la contrapposizione *svoe / čužoe* dando impulso a quella sintesi che permette il procedere della cultura (Kaucisvili 1995). Lo studio appassionato e prolungato dei pensatori che più le erano affini, Lotman, Bachtin, Berdjaev, Florenskij, la sollecitava a evidenziare un principio comune che caratterizzasse la loro visione del mondo e che permettesse di metterli in dialogo fra di loro. *Florenskij, Bachtin, Lotman (dialogo a distanza)* (Kaucisvili 1996), intitolava infatti la sua relazione al Convegno organizzato a Bergamo nel 1994 e dedicato all’eredità di Jurij Lotman. Il ‘dialogo’ e il ‘simbolo’ rappresentavano anche quei principi del mondo religioso ortodosso, al quale Nina Kaucisvili dedicava studi sempre più numerosi e ampi tra la fine del Novecento e il primo decennio del XXI secolo. La sua attenzione si rivolgeva soprattutto alle grandi figure femminili della Chiesa ortodossa russa, sia monache che laiche, quali Elizaveta Fedorovna, l’igumena Famar’ Mardžanisvili, e Mar’ja Judina, la grandissima pianista ebrea convertita all’ortodossia. In tale ambito aveva attirato la sua attenzione, sin dalla seconda metà degli anni Ottanta, la complessa figura di Mat’ Marija (Elizaveta Jur’evna Kuz’miina-Karavaeva), poetessa, pittrice, rivoluzionaria e monaca ortodossa emigrata a Parigi, morta nel 1945 nel campo di concentramento di Ravensbrück. Dopo anni di studi, dopo molti articoli dedicati a questo singolare personaggio del mondo artistico e religioso russo, nel 1997 aveva pubblicato presso la casa editrice Qiqajon del Monastero di Bose il volume *Mat’ Marija: Il cammino di una monaca. Vita e scritti* (Kaucisvili 1997) cui si era successivamente aggiunto, pubblicato postumo, il lungo saggio: *Profilo di spiritualità. Mat’ Marija, Simone Weil, Edith Stein*, che ne costituiva la seconda parte (Kaucisvili 2015). Nell’affrontare il tema della diaspora russa a cui appartengono molte personalità studiate (da Berdjaev a Mat’ Marija a Raisa Maritain), Nina Kaucisvili non si attiene alla visione diffusa di un’emigrazione totalmente chiusa al proprio interno e isolata dal milieu culturale circostante, ma sottolinea come molti suoi esponenti ne fossero al contrario protagonisti. Al tempo stesso si sofferma sull’idea che condizione particolare dei diversi artisti e intellettuali della diaspora fosse quella di rivivere il rapporto con la Russia

in maniera totalmente personale, ciascuno “dalla propria lontananza”, come fecero Chagall o Stravinskij, per trovare una nuova patria grazie all’impulso creativo (Kaucisvili 2008).

Al monastero di Bose e alle multiformi attività culturali promosse dal priore Enzo Bianchi, Nina Kaucisvili aveva dato anche un significativo contributo, sollecitando l’organizzazione annuale di un convegno ecumenico internazionale di spiritualità russa, e aveva preso parte con una relazione a ogni convegno. Alberto Mainardi, curatore di tutti gli Atti, sintetizza il cammino del pensiero critico di Nina Kaucisvili individuando nell’insieme dei suoi interventi “quattro polarità che di volta in volta organizzano il campo interpretativo in cui Nina Kauchtschischwili ripensava gli autori e le opere, le figure di santità e le tendenze fondamentali della spiritualità russa [...] quattro ‘coordinate ermeneutiche’: la dialettica tra *svoe* e *čuzoe*; la sintesi dello *vseedinstvo*; la ‘bellezza’ che manifesta l’interiore libertà e la ‘creatività’ [che] organizzano, per così dire, lo spazio-tempo culturale e spirituale russo” (Mainardi 2016: 215-217).

Quello che resta dell’eredità di Nina Kaucisvili russista sono innegabilmente l’approfondimento di tematiche e autori scarsamente noti in Italia e l’introduzione di strumenti didattici e di ricerca del tutto nuovi. Resta la straordinaria curiosità intellettuale, la volontà di indagare nel profondo, senza fermarsi a concetti consolidati, l’energia e la volontà di condividere momenti di studio e riflessione.

La fusione tra arte e vita, studiata negli autori del Novecento, per Nina Kaucisvili diventa fusione tra professione e vita: il concetto di *sobornost’* su cui aveva indagato nei suoi studi diventa pratica di vita e anche importante impegno civico e politico, dall’attività presso il carcere di Opera al prolungato impegno per facilitare il dialogo tra gli esponenti più aperti e lungimiranti della chiesa ortodossa russa e del cattolicesimo.

Bibliografia¹

- | | |
|--------------------------|--|
| Belousov, Civ’jan 2000 : | A. Belousov, T. Civ’jan (red.), <i>Russkaja provincija: mif,-tekst-real’nost’</i> , Moskva–Sankt-Peterburg 2000. |
| Burini, Piretto 2004: | S. Burini, G.P. Piretto (a cura di), <i>L’occidente, con le sue categorie razionali, non riesce ad abbracciare la bellezza, Dialogo con Nina Kauchtschischwili</i> , “eSamizdat”, II, 2004, 3, pp. 9-13. |
| Florenskij 1917: | P. Florenskij, <i>Pervye šagi v filosofii</i> , Sergiev Posad 1917. |
| Florenskij 1967: | P. Florenskij, <i>Obratnaja perspektiva</i> , “Trudy po znakovym sistemam”, 1967, 198, pp. 381-416. |

¹ Per la bibliografia completa dei lavori di Nina Kaucisvili cfr.: *Bibliografija trudov Niny Kauchčišvili i izdanij o nej*, sost. R. Casari, E. Garetto, F. Melzi d’Eril (Kauchčišvili 2024: 453-468). Nel testo la grafia del cognome, diversificata nelle varie edizioni e alfabeti (Kauchtschischwili, Kauchčišvili), è stata semplificata in Kaucisvili per tutte le occorrenze.

- Hagemeister, Kauchtschischwili 1995: M. Hagemeister, N. Kauchtschischwili (red.), *P.A. Florenskij i kul'tura ego vremeni*, Marburg 1995.
- Kaucisvili 1962 : N. Kauchtschischwili, *Alcune considerazioni su un incontro tra P.A. Vžazemskij e Alessandro Manzoni*, "Aevum", 1962, 5-6, pp. 443-462.
- Kaucisvili 1963 : N. Kauchtschischwili, *Silvio Pellico e la Russia*, Milano 1963.
- Kaucisvili 1966 : N. Kaucisvili, *Alcune lettere di Zinaida Volkonskaja a P.A. Vžazemskij*, "Aevum", 1966, 1-2, pp. 125-137.
- Kaucisvili 1968 : N. Kauchtschischwili, *Il Diario di Dar'ja Fedorovna Ficquelmont*, Milano 1968.
- Kaucisvili 1977: N. Kauchtschischwili, *S. Turgenev e l'Italia*, in: Ead. (a cura di), *Miscellanea Turgeneviana*, Bergamo 1977, pp. 77-287.
- Kaucisvili 1982: N. Kauchtschischwili, *Le portrait littéraire chez Dostoevskij*, in: *Actualité de Dostoevskij*, Genova 1982, pp. 197-213.
- Kaucisvili 1983a : N. Kauchtschischwili, *Gogol' pittore e ritrattista*, in: *Gogol e la sua opera. Atti dei Convegni dei Lincei*, Roma 1983, pp. 123-150.
- Kaucisvili 1983b : N. Kauchtschischwili, *La musica e il testo letterario*, in: *Mondo slavo e cultura italiana: contributi italiani al IX Congresso Internazionale degli Slavisti. Kiev 1983*, Roma 1983, pp. 188-207.
- Kaucisvili 1992a: N. Kauchtschischwili, *Borisov-Musatov-živopisec i Andrej Beļj*, in: M. Ferrazzi (a cura di), *Simbolismo o simbolismi? Studi slavistici offerti a Alessandro Ivanov*, Udine 1992, pp. 181-199.
- Kaucisvili 1992b : N. Kauchtschischwili, *Introduzione a: P. Florenskij, Il sale della terra. Vita dello starec Isidoro*, Magnano 1992, pp. 5-15.
- Kaucisvili 1995: N. Kauchčišvili, *Nekotorye momenty "kul'turnogo vzryva" v Rossii*, in: "Svoe" i "čужoe" v literature i kul'ture, Tartu 1995, pp. 25-44.
- Kaucisvili 1996: N. Kauchtschischwili, *Florenskij, Bachtin, Lotman (dialogo a distanza)*, "Slavica tergestina", IV, 1996, pp. 65-80.
- Kaucisvili 1997: N. Kauchtschischwili, *Mat' Marija: Il cammino di una monaca. Vita e scritti*, Magnano 1997.
- Kaucisvili 2000: N. Kauchčišvili, *Geografija, libo chudožestvennaja kanva 'Besov' Dostoevskogo*, "Slavica tergestina", VIII, 2000, pp. 37-52.
- Kaucisvili 2007: N. Kauchčišvili, *Poslednee sočinenie P.A. Florenskogo "Oro": poetika sud'by*, in: L. Zajonc (red.), *Na meže mež Golosom i Echom. Sbornik statej v čest' Tat'jany Vladimirovny Civ'jan*, Moskva 2007, pp. 188-202.

- Kaucišvili 2008 : N. Kauchčišvili, *Raisa Maritain i russkaja diaspora Pariža*, "Europa Orientalis", XXVII, 2008, pp. 165-177.
- Kaucišvili 2009: N. Kauchčišvili, *V tvorčeskoj laboratorii Velikogo inkvizitora*, in: K. Kroó, T Szabó (eds.), *F.M. Dostoevsky in the Context of Cultural Dialogues*, Budapest 2009, pp. 228-235.
- Kaucišvili 2015 : N. Kauchčišvili, *Profilo di spiritualità. Mat' Marija, Simone Weil, Edith Stein*, in: L. Fagnoni (a cura di), *Donne di desiderio. Nina Kauchtschischwili tra oriente e occidente*, Cantalupa 2015, pp. 9-124.
- Kaucišvili 2024 : N. Kauchčišvili, *Italija v žižni i proizvedenijach P.A. Vjazemskogo*, Tartu 2024 (ed. or. N.Kauchtschischwili, *L'Italia nella vita e nell'opera di P.A. Vjazemskij*, Milano 1964).
- Kauchčišvili, Boneckaja 1993: N. Kauchčišvili N. Boneckaja (red.), *Optina pustyn': monastyr' i russkaja kul'tura. Materialy Meždunarodnogo simposiuma v Bergamo 19-23 aprelja 1990*, Moskva 1993.
- Lo Gatto 1971: E. Lo Gatto, *Russi in Italia. Dal secolo XVII ad oggi*, Roma 1971.
- Lotman 1972: Ju. Lotman, *La struttura del testo poetico*, Milano 1972.
- Mainardi 2016 : A. Mainardi, *Nina Kauchtschischwili tra oriente e occidente* in: L. Fagnoni (a cura di), *Donne di desiderio. Nina Kauchtschischwili tra oriente e occidente*, Cantalupa 2015, pp. 215-217.
- Pesenti et al. 2000: M.Ch. Pesenti et al., *Chudožestvennyj tekst i ego geo-kul'turnye stratifikacii: atti dei convegni Università degli studi di Bergamo, 9-10 dicembre 1996, 7-8 settembre 1998*, Trieste 2000 (= "Slavica Tergestina", VIII).

Abstract

Rosanna Casari, Elda Garetto

Nina Kaucisvili's Contribution to the Studies on Russian Culture and Spirituality

This paper outlines the multifaceted intellectual profile of Nina Kaucisvili (1919-2010), from her cosmopolitan education to the development of her distinguished career as a scholar and professor of Russian literature. Her research and teaching primarily focused on the works of Dostoevskij and Gogol' from the nineteenth century, and Andrej Belyj from the twentieth, applying the theories of the Russian formalists – particularly those of Jurij Lotman – to the analysis of their writings. A significant phase of her scholarly activity centered on the philosophical and aesthetic works of Pavel Florenskij.

Thanks to her exceptional ability to identify innovative research directions and to foster opportunities for scholarly debate with leading international experts, the Slavic Department at the University of Bergamo became a major hub for Russian studies. The international academic community recognized not only her original approach to Russian-Italian cultural relations, but also her efforts to broaden cultural discourse to include twentieth-century Russian spirituality, both within Russia and in emigration.

Keywords

Nina Kaucisvili; Russian Studies; Italy.



RECENSIONI

G. Giuliano, P. De Simone, *Paisiello e la Russia, Lettere al Conte Voroncov*, Valore Italiano Editore, Roma 2024 (= Correnti d'incontro tra Russia ed Europa), pp. 251.

Il volume qui recensito rappresenta la prima uscita della collana *Correnti d'incontro tra Russia ed Europa*, concepita e diretta da Giuseppina Giuliano e Andrej Shishkin, e ospitata dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Salerno in collaborazione con il Centro Studi e Ricerche V. Ivanov di Roma. La collana ha lo scopo di esaminare le "vie di contatto culturale tra la Russia e l'Europa, nonché gli spazi e i confini in cui sono state percepite le influenze esterne e si sono concretizzate esperienze di dialogo" (p. 3), pubblicando principalmente materiali inediti, o già pubblicati senza apparati critici, di carattere privato o pubblico: memorie, saggi, carteggi, diari. I curatori stessi definiscono queste "correnti" come "eventi storici e atti creativi nati in una cultura estranea che siano risultati fertili in modo trasversale non solo grazie alla presenza di radici comuni o di un comune indirizzo di pensiero, ma anche grazie all'esigenza di percepire l'estraneo 'andandogli incontro.'" (p. 3).

Come espresso nella *Premessa* (pp. 9-10) firmata da G. Giuliano, questo primo volume ha per oggetto le testimonianze del rapporto che lega alla Russia il compositore tarantino di formazione napoletana Giovanni Paisiello (1740-1816), rapporto che si concretizza tra il 1776 e il 1784, quando il musicista fu a servizio della corte russa come *kapel'mejster* della compagnia d'opera italiana, ma che prosegue con modalità diverse anche dopo il suo rientro a Napoli. In particolare, il compositore rimase in contatto con il conte Semën Romanovič Voroncov (1744-1832), ambasciatore russo prima a Venezia (dal 1780) e poi a Londra (dal 1785 al 1806), ma presente in Italia nel corso di tre soggiorni prolungati (1763-1763, 1776-1778, 1783-1785).

L'amicizia tra Paisiello e Voroncov è ricostruita in dettaglio da Giuliano nel saggio *Tra diplomazia e melomania: il conte Semen Romanovič Voroncov e Giovanni Paisiello* (pp. 11-29): essa si doveva all'interesse del nobiluomo per la musica, interesse sorto durante un giovanile soggiorno a Vienna, e coltivato anche e soprattutto dall'amata moglie Ekaterina Alekseevna Sinjavina (1759 o 1761-1784), dama di compagnia di Caterina II e allieva di Paisiello. Morta prematuramente nel 1784, la contessa aveva trasmesso la propria passione e il talento alla figlia Ekaterina Semënovna (1783-1856, sposata Pembroke), che, come la madre, fu dedicataria di alcune composizioni.

Proprio in virtù della circostanza descritta, la relazione che legava Paisiello a Voroncov si configura anche come rapporto di committenza: le lettere evidenziano la produzione di pezzi dedicati alla moglie di Voroncov, come il *Concerto di Cembalo con più strumenti* e un ciclo di tredici duetti vocali su versi di Metastasio con accompagnamento di pianoforte, *La Libertà e Palinodia a Nice*, di cui alcune copie sono state conservate – almeno per un periodo – nella biblioteca di famiglia ad Alupka (Crimea), e di cui alcuni testimoni si trovano oggi in svariate biblioteche europee, a

cominciare da quella del Conservatorio di musica San Pietro a Majella di Napoli. Giuliano spiega anche come questo epistolario e parte delle carte della famiglia Voroncov siano state oggetto di conservazione e anche di pubblicazione (non completa, evidentemente, e in una sede poco accessibile al lettore italiano che non sia specificatamente russista) già sul finire dell'Ottocento. Furono i discendenti del conte, e in particolare il figlio Michail Semënovič, a far confluire questo materiale nella poderosa serie *Archiv knjazja Voroncova / Archives du prince Woronzow. V 40 tomach* (V universitetskij tipografii [M. Katkov], Moskva 1870-1895) – operazione che di per sé trasmette al lettore – di quella, ma anche della pubblicazione qui recensita – la misura in cui la rilevanza di carteggi di questo tipo, in qualità di testimonianza di uno o più fenomeni storici, era percepita già nell'immediatezza in cui essi venivano prodotti.

La seconda sezione del volume (*Lettere inedite di Paisiello al conte*, pp. 31-70), a cura di G. Giuliano e P. De Simone, presenta in prima edizione le lettere (in tutto sedici), custodite al Rossijskij gosudarstvennyj archiv drevnich aktov, qui trascritte in versione documentaria e corredate da interventi interpretativi tra parentesi e note esplicative a piè di pagina, in particolare in riferimento alle personalità menzionate. Tale corrispondenza si estende cronologicamente dall'agosto 1780 al maggio 1816, un mese prima della morte del compositore, e geograficamente inquadra un'Europa compresa tra Pietroburgo, Napoli e Londra. Com'è tipico di questo genere di testi, le lettere contengono riferimenti a fatti dei quali il lettore esterno ha una conoscenza necessariamente parziale, e che abbisognano di integrazioni a completamento del contesto in cui sono state prodotte. A loro volta, esse costituiscono un pezzo di un più ampio puzzle che assume sfaccettature diverse a seconda anche dello sguardo che il lettore vi rivolga. In questo senso, integrano il contesto che si intravede nell'altro carteggio presentato nell'Appendice II – *Lettere di Giovanni Paisiello all'abate Ferdinando Galiani* [1728-1787, economista, linguista e poeta, amico di Paisiello e consigliere della corte borbonica] e *l'epistola a Paolo Schultesius* [pianista e compositore tedesco, pastore luterano della comunità riformata livornese, 1748-1816] (pp. 175-220). Queste ripropongono, con regolarizzazioni aggiornate e identificazioni assenti nella prima edizione (Trani 1910), un epistolario a lungo osservato dai musicologi che abbiano setacciato questo orizzonte alla ricerca di informazioni che appaiono ancora scarse se rapportate all'ampiezza della fenomenologia musicale dell'Impero Russo.

Allo sguardo di chi si interessi alla musica nell'Europa del secondo Settecento, i due epistolari offrono spunti su più aspetti. Di questi, il primo è senz'altro la centralità della musica non solo nella vita dei professionisti (e non necessariamente o esclusivamente russi), ma anche dei consumatori, che vi si dedicavano per proprio diletto, ma ne facevano anche un argomento di conversazione dotata. Ciò traspare dalla prima lettera di Paisiello a Voroncov (28 agosto 1780, pp. 31-41), nella quale conte e musicista si mostrano impegnati in un contenzioso intorno a una questione teorica che ci fa 'toccare con mano' non solo punti di vista diversi nella pratica compositiva (in questo caso, della scuola italiana opposta a quella tedesca), ma anche percezioni estetiche all'ascolto e tecnoletto musicale (l'uso da parte di Paisiello della nomenclatura della solmisazione, di ascendenza medievale).

I due carteggi evidenziano anche il ruolo della diplomazia e delle strutture amministrative di cui essa si dotava all'epoca non solo a livello politico (il destino personale del Conte dipese dai rapporti tra potenze europee a livello geopolitico), ma anche nella mobilità, *in primis* di beni musicali: le commissioni e le opere che Paisiello fa copiare a Pietroburgo affinché giungano a Napoli durante il suo servizio, e poi a Napoli per l'invio a Londra, nella prospettiva di nuovi allestimenti in un'epoca in cui si sta affermando il concetto di repertorio – ovvero la pratica di allestire più volte uno stesso titolo in modo da guadagnare sul lavoro fatto in proporzione al numero di spettacoli, e non solo con la cessione della partitura com'era stato in epoca barocca.

Non solo: i frequenti riferimenti a comuni conoscenze riflettono anche il tentativo di Paisiello di tenere vivo il pensiero di sé nelle personalità incontrate grazie a queste relazioni, che avevano un ruolo fondamentale nella mobilità degli artisti stessi, assolvendo la funzione di facilitatori in una rete internazionale di contatti. Da questo punto di vista, due ‘momenti’ essenziali emergono dai carteggi. Il primo è il ricorrere persistente dell’intenzione di Paisiello di rientrare a Napoli dopo il servizio presso la corte russa: da questo punto di vista, il musicista attribuisce a Voroncov (e a Galiani) un ruolo fondamentale. In questa dinamica rientra anche la scelta del compositore di avvicinarsi all’Italia fermandosi a Vienna (1784), per facilitare (come richiesto dagli interlocutori) le trattative di ingaggio con i Borboni cui Paisiello indirettamente si rivolgeva.

Un secondo ‘nodo’ nella rete di contatti che emerge dall’epistolario è costituito da un’altra allieva d’elezione di Paisiello, Marija Fëdorovna, già principessa di Württemberg e consorte dell’erede al trono russo Pavel Petrovič Romanov. A Pietroburgo Marija Fëdorovna fu destinataria di alcune opere pianistiche, di cui copie furono spedite a Napoli insieme ai melodrammi allestiti da Paisiello a Pietroburgo, per tramite di Galiani e Voroncov. Tra le opere dedicate alla granduchessa si ricordano una *Raccolta di Sonate, Sinfonie, e Rondò per cembalo o piano forte* e un *Concerto per clavicembalo*, di cui testimoni autografi sono conservati presso la Biblioteca di San Pietro a Majella.

Il rapporto diretto con la granduchessa fu interrotto temporaneamente quando ella partì per il noto grand tour del 1781-1782, ma rimase attivo anche dopo che Paisiello lasciò la Russia nel 1784. I due carteggi, che abbracciano cronologicamente questo rapporto, attestano come esso fu coltivato anche attraverso una serie di messaggi inviati per interposta persona allo scopo di rinsaldare continuamente il legame a dispetto della lontananza geografica, e di evitare che l’artista si trovasse ‘lontano dal cuore’ dei propri mecenati. È infatti spesso attraverso i contatti diplomatici che avvenivano gli ingaggi dei musicisti, e Marija Fëdorovna e il marito Pavel Petrovič si fecero senz’altro promotori di alcuni di essi, se si pensa che vari tra i musicisti da loro ascoltati o incontrati in Italia (penso a Domenico Cimarosa e Giuseppe Sarti, ad esempio) si trovarono poi a servizio della corte russa. Da parte sua, Paisiello coltivò i rapporti con queste personalità – a distanza e mentre si trovava a Pietroburgo – anche per agevolare il proprio rientro su Napoli.

In questa dinamica relazionale rientrano anche i riferimenti alle due pensioni percepite da Paisiello anche dopo la conclusione del proprio servizio piomboburghese, che si devono proprio al servizio presso i Teatri Imperiali e presso la ‘piccola corte’ dell’erede. A questo proposito segnalo un potenziale equivoco delle autrici, che sembrano trattarle come si trattasse di uno stesso servizio, e quindi esito di un unico stipendio: sono più probabilmente due diverse ‘voci di bilancio’, che un musicista dell’epoca doveva combinare per tenere in ordine le proprie finanze. Paisiello chiederà a più riprese l’adeguamento delle pensioni, appoggiandosi al conte per far valere le proprie ragioni.

È forse un peccato che il saggio di De Simone *Nuovi dati sulla vita e le opere di Paisiello dalla corrispondenza con il protettore Voroncov* (pp. 71-148) non evidenzi questi aspetti in modo trasversale rispetto ai due epistolari, ripercorrendo invece i testi delle lettere in una scansione cronologica, e parafrasando(ne) di volta in volta passi scelti sulla scorta di una bibliografia non più aggiornata (Della Corte e Findejzen), nella convinzione che “la maggior parte dei dati del periodo trascorso in Russia da Paisiello si ricava ancora oggi da carteggi pubblicati nel primo Novecento” (p. 88). Questo approccio ha due inconvenienti: il primo è che la parafrasi prevalga sull’analisi critica, rendendo il saggio poco fruibile alla lettura e riproponendo materiali più volte all’interno della stessa pubblicazione. Il secondo è la concentrazione quasi esclusiva su fonti napoletane che, insieme all’esclusione di tanta letteratura scientifica prodotta in lingua italiana, inglese e russa nel corso del secolo che ci separa da quella bibliografia, comporta che venga meno l’annunciata novità dei dati riportati.

Più utili e fruibili appaiono invece le tabelle riassuntive delle *Opere [serie]* (pp. 124-128), *Opere buffe* (pp. 128-130), e il *Prospetto aggiornato delle lettere autografe di Paisiello* (pp. 134-148) che offre un quadro chiaro del collocamento delle fonti epistolari disponibili a livello cronologico. Di grande utilità l'Appendice I (*La produzione teatrale di Giovanni Paisiello alla corte russa negli anni di Caterina II e Paolo I*, pp. 149-174), nella quale De Simone tenta un riordino degli allestimenti di opere paisielliane (inaugurazioni e riprese) raccogliendo libretti e partiture da svariate biblioteche europee. Si segnala, su questo punto, il mancato censimento delle biblioteche Teatral'naja (che pure contiene fonti librettistiche rilevanti in quest'ambito), del Rossijskij Institut Istorii Iskusstv e dei Conservatori delle due capitali, che conservano fonti musicali anche del compositore qui trattato, nonché un'anomalia che da tempo necessita una soluzione definitiva: la 'Central'naja muzykal'naja biblioteka' dell'ex teatro Kirov (oggi Mariinskij) non esiste più; le fonti che il RISM colloca in quella sede sono oggi al Fondo storico del Teatro Mariinskij. Ciò non può che evidenziare, tuttavia, che l'aspirazione alla completezza nella *recensio* è destinata a essere – per fortuna – frustrata da continue nuove rivelazioni, e che il lavoro qui proposto costituisce una tappa importante in un percorso che non può che continuare, anche in virtù di questo continuo apporto.

Di indubbia curiosità è il *Post Scriptum* di De Simone *Un aneddoto su Paisiello* (pp. 221-224), cui segue un apparato iconografico relativo agli aneddoti ricostruiti, abbinato a illustrazioni esemplificative delle fonti napoletane relative alle opere composte da Paisiello in e per la Russia (*Illustrazioni*, pp. 225-233): questi materiali testimoniano di come il destino di singoli individui porti le tracce di più ampie dinamiche di contatto tra paesi e culture lontane, e di come soggetti specifici possano essersi fatti veicolo del fenomeno oggi definito 'cultural transfer' che questa collana si propone di indagare.

Anna Giust

D. Colombo, *The Soviet Spy Thriller. Writers, Power, and the Masses, 1938-2002*, Peter Lang, New York 2022, pp. X-297.

"Spy stories are a significant example of our unsatisfactory knowledge of a relevant part of Soviet culture": questo è uno degli assunti principali da cui prende avvio il recente lavoro di Duccio Colombo *The Soviet Spy Thriller*. Sulla base di una ricerca bibliografica approfondita e ben documentata, l'Autore offre un contributo originale allo studio delle cosiddette 'spy stories', analizzate all'interno del più ampio e complesso panorama culturale sovietico e, in misura minore, post-sovietico. Descrivendo gli intrecci tra letteratura e spionaggio, incluse le relative incursioni nel mondo delle teorie cospirazioniste, Colombo evidenzia come a partire dai tardi anni Trenta la 'spy story' sia diventata uno specchio della mentalità sovietica, dei suoi meccanismi di legittimazione simbolica nonché delle sue contraddizioni più profonde.

In tal senso, un indubbio merito di questo lavoro risiede nel riuscito tentativo di conferire piena legittimità letteraria al genere del thriller spionistico, storicamente stigmatizzato sia dalla critica ufficiale sovietica sia dalle autorità statali. Ciò avveniva secondo una pratica più proclamata che attuata, in quanto, come spiega l'Autore, se da un lato il regime sovietico rigettava la cultura di massa e, nello specifico, la letteratura di genere in quanto emblemi della decadenza dell'Occidente capitalista, dall'altro lato riconosceva e strumentalizzava la loro elevata efficacia propagandistica. È proprio questo paradosso – alimentato anche dall'ossessione diffusa, durante le grandi purghe staliniane, per l'attività spionistica e per l'individuazione dei 'nemici del popolo', interni ed esterni – ad aver favorito la comparsa della 'spy story', che ha continuato a espandersi prima e dopo la Seconda guerra mondiale, rivelandosi particolarmente adatta a rappresentare una realtà in continua trasformazione.

Se ne deduce che le 'spy stories' sovietiche trovano la loro stessa ragion d'essere nelle peculiari dinamiche di funzionamento del contesto storico, culturale e sociale che le ha generate. Nel suo saggio Colombo fa leva su questo aspetto per dimostrare che il genere non solo vanta una cronologia tutta propria, ma si presenta anche come sistema dinamico, capace di evolversi nell'impiego delle sue formule e convenzioni. Ciò, in definitiva, ha permesso allo 'spy thriller' sovietico di affermarsi di fatto come una modalità narrativa a sé stante sullo sfondo della letteratura del realismo socialista.

In quest'ottica, va sottolineata la capacità degli autori – alcuni dei quali, come Roman Kim e Ovidij Gorčakov, hanno lavorato nei servizi segreti sovietici – di sintetizzare nei loro romanzi la diffusa fascinazione per l'Occidente "immaginato", nella felice definizione di Aleksej Jurčak. Dalle sigarette Chesterfield alle bottiglie di Martini, dalle automobili d'epoca ai film hollywoodiani, gli scrittori arricchiscono le proprie trame di continui riferimenti allo stile di vita nel mondo al di là della cortina di ferro – un mondo irreali e inaccessibile, formalmente proibito per via della sua presunta

corruzione morale, ma proprio per questo mitizzato e culturalmente influente nell'immaginario collettivo dei lettori sovietici.

Dopo la sezione introduttiva, *The Soviet Spy Thriller* si articola in otto capitoli, raggruppati equamente in due diverse parti, dal titolo di *Pioneers* e *Craftsmen*. Per stimolare una riflessione in prospettiva comparata, ciascun capitolo presenta un caso studio volto a indagare testi e profili autoriali alquanto paradigmatici di una più generale tendenza letteraria. Pur nella varietà di stili, percorsi biografici e collocazioni cronologiche, gli scrittori analizzati da Colombo condividono specifiche impostazioni e finalità, che contribuiscono a definirli come agenti culturali pienamente interni al sistema sovietico, ma mai del tutto assimilati ad esso.

Ad aprire la trattazione è il capitolo dedicato a Nikolaj Španov, uno tra i più prolifici scrittori sovietici di "spy stories". Autore di veri e propri best-seller del periodo post-bellico, Španov è ricordato soprattutto per il ciclo di romanzi *I guerrafondai* (*Podžigateli*, 1949-1951), vasta narrazione a carattere cospirativo che denuncia un presunto complotto filonazista ordito da Stati Uniti e Regno Unito ai danni dell'URSS, ritenuto dall'autore la vera causa scatenante della Seconda guerra mondiale. Attraverso uno stile semplice e una trama avvincente, caratterizzata sia da personaggi storici e immaginari sia dall'uso strategico del materiale documentario, l'opera si configura come strumento per rivelare le malefatte dei governi occidentali, riducendo la politica internazionale a un perpetuo gioco di spionaggio. Proprio l'insistenza sulla cospirazione mondiale conferisce a Španov un ruolo di primo piano nello 'spy thriller' sovietico, il cui esempio non solo anticipa i modelli successivi del genere, ma, come afferma Colombo, dimostra anche come "its political logic made it hard for the Soviet leadership to do without mass-literature" (p. 58).

Nel capitolo successivo l'autore fa un salto temporale all'indietro, analizzando l'opera di due autori diversi: Lev Ovalov e Lev Šejnin, i cui scritti iniziano a circolare a partire dalla metà degli anni Trenta. Al primo si deve la creazione del celebre personaggio del Major Pronin, l'agente dell'НКВД protagonista di una lunga serie di racconti e romanzi. Archetipo dell'investigatore sovietico devoto e infallibile, Pronin è in prima linea nelle indagini su sabotaggi e infiltrazioni che attentano alla sicurezza nazionale. Nonostante la caratterizzazione positiva del suo protagonista, o forse proprio a causa di essa, Ovalov fu arrestato con l'accusa, mai chiaramente formalizzata, di aver divulgato segreti dell'intelligence nelle sue storie. Si tratta di un caso che rivela i rischi connessi alla scrittura di 'spy stories' in URSS, un destino che non ha risparmiato neanche Lev Šejnin. Al di là di ciò, nell'opera di quest'ultimo si rinvengono le prime tracce di un graduale cambio di paradigma, che Španov in seguito riprende e amplia: il nemico interno invece di essere un residuo del passato – spesso un *kulak* – appare come una minaccia proveniente dall'estero. Come osserva Colombo, infatti, "class origins no longer constitute the basis on which a spy is brought up; they have been definitively substituted by another kind of genetic tie, that of nationality" (p. 86).

Un altro rappresentante di questo mutamento di prospettiva è Aleksandr Avdeenko, protagonista del quarto capitolo. Oltre ad aver sviluppato, in alcuni dei suoi romanzi più recenti, teorie cospirazioniste che attribuiscono agli Stati Uniti la responsabilità dello scoppio della rivoluzione ungherese del 1956 e dell'assassinio del presidente Kennedy nel 1963, Avdeenko è autore di 'spy stories' che esplorano la minacciosa alterità dei territori liminali acquisiti dall'Unione Sovietica durante il secondo conflitto mondiale. Ne è un esempio la trilogia *Cronaca di frontiera* (*Iz pograničnoj chroniki*, 1954-1963), ambientata tra il Delta del Danubio e la Transcarpazia. Qui Avdeenko descrive tensioni e intrighi di matrice occidentale, alimentando così la narrazione secondo cui le zone sovietiche di frontiera, segnate da conflitti di potere e affiliazione identitaria, sono il palcoscenico ideale per pericolosi complotti spionistici.

Di diversa natura è l'opera di Roman Kim, uno degli autori più enigmatici tra quelli analizzati da Colombo. Kim incarna una personalità caleidoscopica: intellettuale poliglotta, profondo conoscitore del giapponese, agente dell'OGPU – rimasto tale anche durante gli anni di detenzione – e infine scrittore di fiction. “His life is a function of his fiction”, scrive Colombo, indicando la tendenza di Kim a costruire se stesso come personaggio letterario, sfruttando la propria biografia per conferire legittimità documentaria alle sue ‘spy stories’. Tra queste si ricorda *Leggere e bruciare* (*Po pročtenii ščeč*, 1963), incentrata su un presunto complotto giapponese-americano per provocare l'attacco di Pearl Harbor. Qui Kim ricorre a trasmissioni cifrate e materiali d'archivio fittizi per rafforzare la narrativa sovietica di denuncia dell'Occidente ingannevole. Il risultato è un costante intreccio tra verità e finzione, che alimenta l'ambiguità del testo e apre alla possibilità di una lettura in chiave allegorica.

Questa pratica ha trovato la sua massima espressione nell'opera di Julian Semënov, forse l'autore più celebre dello ‘spy thriller’ sovietico, che ha dato vita a Max Otto von Stirlitz, agente del controspionaggio sovietico infiltrato nella Germania nazista come ufficiale delle SS, divenuto negli anni Settanta un autentico fenomeno di culto, soprattutto grazie all'acclamata serie televisiva *Diciassette momenti di primavera* (*Semnadcat' mgnovenij vesny*, 1973). Proprio nello stratagemma narrativo dello sdoppiamento identitario risiedono le chiavi del successo del personaggio. Come sottolinea Colombo, Stirlitz è costretto a vivere una doppia vita, sospesa tra l'attrazione per l'Occidente ‘immaginato’, la nostalgia per la madrepatria e il desiderio di uno spazio libero e autentico di espressione individuale – una tensione che riflette inesorabilmente la condizione esistenziale dell'*intelligent* durante la stagnazione brežneviana.

Il settimo capitolo è invece dedicato a Ovidij Gorčakov, un altro agente segreto diventato scrittore di ‘spy stories’. Come ben sintetizzato da Colombo, la produzione letteraria di Gorčakov – incentrata prevalentemente sull'attività della resistenza sovietica nei territori occupati dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale – si caratterizza per la rifunzionalizzazione dell'esperienza bellica in ‘light entertainment’. Ne risulta un ibrido letterario che coniuga l'efficacia narrativa con una marcata impronta documentaria, sorretta sia dalla struttura giornalistico-divulgativa dei testi, sia dall'esperienza diretta dell'autore.

Nel capitolo ottavo Colombo presenta ai lettori la figura di Vadim Koževnikov. Con uno stile a tratti retorico e solenne, l'opera di Koževnikov funge da potente veicolo propagandistico, che ha l'obiettivo di riabilitare agli occhi dell'opinione pubblica l'operato degli agenti segreti sovietici, in piena crisi d'immagine nel periodo successivo alla destalinizzazione. Emblematico in questa prospettiva il romanzo *Lo scudo e la spada* (*Ščit i meč*, 1965) – con un chiaro riferimento allo stemma del KGB –, la cui famosa trasposizione cinematografica avrebbe ispirato la decisione di Vladimir Putin di arruolarsi nei servizi segreti.

A chiusura della trattazione Colombo esplora le declinazioni post-sovietiche della ‘spy story’, tracciandone le coordinate nell'opera di Aleksandr Prochanov. Il diverso scenario storico-politico amplia certamente gli orizzonti del capitolo, che tuttavia avrebbe potuto beneficiare di un legame più organico con le sezioni precedenti, contribuendo così a rafforzare la coerenza complessiva dell'analisi. In ogni caso, Colombo mostra come Prochanov trasformi il romanzo di spionaggio in un sofisticato strumento per amplificare ideologie conservatrici, nazionaliste e antisemite, con l'obiettivo di denunciare le cospirazioni occidentali e riaffermare il ruolo della Russia come superpotenza mondiale. In questo senso, e in virtù di dinamiche complesse e articolate che meriterebbero senz'altro un'indagine approfondita, Prochanov sublima la figura dell'agente segreto come vero e

proprio salvatore della patria, incaricato di esorcizzare il trauma collettivo attraverso la restaurazione della grandezza imperiale russa, perduta in seguito alla dissoluzione dell'URSS.

The Soviet Spy Thriller si impone dunque come un contributo importante per comprendere non solo la genesi e l'evoluzione delle 'spy stories', ma anche il loro ruolo nella graduale e travagliata costruzione dell'immaginario culturale sovietico, secondo modalità ambivalenti spesso sfuggite al controllo ufficiale. Emblema di tali operazioni è il profilo della spia, figura ambigua per definizione e continuamente costretta a riscrivere la propria identità attraverso un gioco di specchi che riflette, esasperandole, le contraddizioni della realtà sovietica. Proprio questa caratteristica, conclude Colombo, consente al genere dello 'spy thriller' di conferire forma letteraria alle fratture irrisolte del discorso identitario sovietico, offrendo al contempo valide chiavi di lettura per interpretarne le derive post-sovietiche.

Giorgio Scalzini

D. Novochatskij, *Spasti prošloe: chronokorrekcija v russkoj literature*, Criterion Editrice, Milano 2023 (= Entr'Acte Percorrere i margini), pp. 333.

In periodi di transizione storica e culturale, la letteratura fantascientifica si rivela uno strumento efficace per comprendere e rappresentare la realtà, e questa attitudine rende oggi imprescindibili gli studi accademici sulla *science fiction* e la *speculative fiction*, volti a superare la tradizionale prospettiva sociologica sulla 'letteratura di massa'. In questo quadro si inserisce la monografia di D. Novochatskij (Novokhatskiy) *Spasti prošloe: chronokorrekcija v russkoj literature*, dedicata al concetto di 'cronocorrezione' (neologismo coniato dall'A.) in un ampio contesto teorico, che spazia dal romanzo storico alla *historiographic metafiction* (definizione di L. Hutcheon). Al centro della trattazione una delle espressioni della 'cronocorrezione' – il *popadančestvo* (da *popast*, 'capitare all'improvviso in qualche luogo'), genere che consente la reinterpretazione e modifica finzionale del passato comune, molto popolare nella Russia post-sovietica, proprio per il bisogno di rinegoziarne il significato. In questo senso, la tesi di K. Popper – che sottolinea come non esista una storia univoca, ma solo interpretazioni, mai conclusive, del passato secondo differenti punti di vista (*La società aperta e i suoi nemici*, 1945) – offre una chiave di lettura preziosa per il genere, configurando il *popadančestvo* come espressione narrativa di tale istanza. Questa duplice ambizione, teorico-filosofica e pratico-descrittiva, porta l'A. a ricostruire diacronicamente lo sviluppo della 'cronocorrezione' nella letteratura russa, seguendo la categoria bachtiniana di *pamjat' formy* 'memoria della forma': la capacità del linguaggio di conservare e trasmettere determinati significati ideologici e culturali nel tempo, influenzando la ricezione e la produzione di nuovi enunciati (*Ėstetika slovesnogo tvorčestva*, 1979).

Nell'introduzione l'A. fornisce una definizione del concetto di *popadančestvo*, genere ibrido della letteratura fantastica, a cavallo tra il viaggio nel tempo classico (*temporal'naja fantastika, chronoopera*), che ha come suo capostipite il testo canonico della fantascienza moderna, *The Time Machine* (1895) di H.G. Wells, e la storia alternativa o controfattuale, il cosiddetto 'what if?' come ben spiega U. Eco nel classico *I mondi della fantascienza* (*Sugli specchi e altri saggi*, 1985). La trama tipica delle opere appartenenti al genere è il viaggio del protagonista nel passato per correggere la storia, così come mostrato negli studi più recenti, in particolare quelli di O. Putilo (*Obraz al'ternativnoj Rossii v al'ternativno-istoričeskoj fantastike*, 2020), K. Korolev (*Poiski nacional'noj identičnosti sovetskoj i postsovetskoj massovoj kul'ture v otečestvennom kul'turnom prostranstve*, 2019), e il lavoro collettivo di Nicolosi et al. (*Interventionen in die Zeit. Kontrafaktisches Erzählen und Erinnerungskultur*, 2019). Rispetto ai lavori precedenti, l'A. introduce una prospettiva innovativa, considerando il termine *popadančestvo* come sinonimo di *al'ternativno-istoričeskoe puteščestvie v prošloe* 'viaggio

storico alternativo nel passato' o 'viaggio temporale correttivo'. Questa equivalenza, che include la possibilità di una *al'ternativno-istoričeskaja chronokorrekcija* 'correzione alternativa della linea storico-temporale', mette in luce la vasta eterogeneità dei testi del genere, poiché la 'correzione' può assumere forme e finalità molto diverse. Proprio a partire da una tale definizione, l'A. evidenzia come, nella variante della storia alternativa cosiddetta 'pura', la storia finzionale prenda una piega diversa rispetto alla realtà storica nota al lettore, a causa di un elemento destabilizzante. È utile notare come il 'viaggio temporale correttivo' possa essere inteso come una possibile forma di 'eterocosmo', ovvero un mondo alternativo creato dalla finzione, secondo la definizione di L. Doležel (*Heterocosmica: Fiction and Possible Worlds*, 1998). Il suo saggio, infatti, esplora la complessità di questi mondi alternativi, fittizi, e la loro evoluzione letteraria, rendendo il 'viaggio temporale correttivo' un esempio lampante di come la storia possa essere riscritta attraverso la finzione 'eterocosmica'.

Pur riconoscendo il contributo degli approcci di tipo sociologico, la monografia di Novokhatskiy si distingue per l'intento di restituire dignità teorico-letteraria alla 'cronocorrezione', contribuendo così a colmare una significativa lacuna negli studi. L'A. evidenzia inoltre come il 'viaggio temporale correttivo' nella letteratura russa abbia radici ben precedenti al crollo dell'URSS, affondando nel mutamento novecentesco del rapporto tra Uomo e Storia. Tra le opere fondamentali, accanto al celebre archetipo del genere *A Connecticut Yankee in King Arthur's Court* (1889) di Mark Twain, vengono inclusi anche importanti contributi europei e americani (K. Holford, S. Čech, L. Sprague de Camp, I. Asimov). È interessante notare, inoltre, come già nel romanzo storico ottocentesco fossero state esplorate questioni chiave affini al genere, quali le leggi della storia, il ruolo del caso, l'impatto delle decisioni politiche e la possibilità (o l'illusione) di prevenirne gli effetti. Nel delineare lo statuto teorico della 'cronocorrezione' e ricostruirne l'evoluzione letteraria nel tempo, la monografia si distingue come contributo originale allo sviluppo di una riflessione più ampia sui rapporti tra narrazione, tempo storico e immaginazione controfattuale.

Il volume si articola in tre capitoli e una sezione conclusiva, mirando a ricostruire diacronicamente lo sviluppo del genere dal XX secolo ai giorni nostri. Il primo capitolo inquadra la 'cronocorrezione' nel contesto delle narrazioni speculative e controfattuali, esplorandone la dimensione strutturale e il rapporto con la percezione e l'interpretazione della storia, ponendola così in relazione con modelli narrativi che riflettono sul tempo, sulla memoria e la possibilità di un passato riscrivibile. Particolare attenzione è rivolta al concetto di 'punto di biforcazione', il momento critico in cui un evento cardine devia il corso della storia verso una traiettoria alternativa, e il cui esito può generare una realtà profondamente diversa – *storia finzionale* – o, nel caso di fallimento dell'intervento, riconfermare il corso degli eventi già noti – *storia reale* (ad es., *Demon istorii*, 1968, di Sever Gansovskij). Il secondo capitolo offre un'analisi diacronica dell'evoluzione della 'cronocorrezione', dalle origini prerivoluzionarie fino all'affermazione post-sovietica. Il terzo capitolo, infine, esamina la collocazione del genere nella letteratura russa contemporanea, le sue declinazioni attuali e le influenze subite da generi e opere letterarie russe e straniere, delineando una mappa dinamica dei processi intertestuali e delle fonti culturali.

Il lavoro consente di inquadrare così con maggior chiarezza il genere del *popadančestvo*, che condivide numerosi tratti strutturali e compositivi con la storia alternativa, ma introduce come elemento distintivo il ruolo attivo e centrale della personalità individuale nella trasformazione del corso degli eventi. Nella 'cronocorrezione' – e dunque nel 'viaggio temporale correttivo' – l'individuo diventa agente consapevole, sovente investito di una funzione quasi provvidenziale. Novokhatskiy interpreta la filosofia della storia implicita in queste narrazioni avvalendosi della teoria dell'esplosione culturale di Jurij Lotman (*Kul'tura i vzryv*, 1992), che distingue tra una storia 'ufficiale' (centrale)

e forme alternative ‘periferiche’ che si definiscono sempre in relazione alla storia reale, senza la quale non avrebbero senso: la controfattualità – elemento fondante del genere – presuppone, dunque, la condizione di una conoscenza condivisa della storia documentata. L’esistenza stessa di questi ‘mondi possibili’ narrativi è definita dal loro scarto rispetto alla ‘storia ufficiale’, evidenziandone la natura di reinterpretazione e non di creazione *ex novo*.

Questa consapevolezza segna, per l’A., la linea di demarcazione tra storia alternativa (e ‘cronicorrezione’) e altri generi ‘paraletterari’, quali la criptostoria, le narrazioni complottiste, o la *folk history*. Pur nato in ambiti letterari ‘marginali’, il ‘viaggio temporale correttivo’ si colloca all’intero di una tradizione narrativa riflessiva e problematizza il rapporto tra individuo e storia.

La monografia propone una nuova periodizzazione del genere, centrata sulla variabilità del potere attribuito al protagonista di modificare il corso degli eventi. Novokhatskiy distingue sei fasi evolutive, dal 1910 al periodo post-sovietico, in rapporto ai principali snodi storici e culturali. L’evoluzione del genere, come sottolineato, procede per ondate: fasi di grande prolificità si alternano a momenti di stasi creativa.

Particolarmente significativo è l’esempio di *BESCEREMONNYJ ROMAN* (1927; le maiuscole sono degli autori) di Giršgorn, Lipatov e Keller, caso emblematico del cronoviaggio correttivo in lingua russa: qui un protagonista avveduto interviene sul passato aiutando Napoleone a realizzare una rivoluzione proletaria mondiale. Tale funzione compensativa – immaginare la storia che non si può cambiare nel presente – conferisce al *popadančestvo* una valenza ideologica profonda, capace di riflettere le fratture storiche e le disillusioni del tempo.

Novokhatskiy dedica inoltre particolare attenzione alle trasformazioni successive al Disge-
lo: tra gli anni ‘60 e ‘80 si sviluppano varianti in cui il viaggio nel tempo non è più solo dal presente al passato, ma può anche articolarsi lungo due direzioni: verso un ‘passato assoluto’ oppure verso un ‘passato relativo’ (presente dell’autore/lettore), in questo caso dando origine al modello della “storia antialternativa” (secondo la definizione di K. Hellekson), rielaborata in chiave sovietica come *anti-genere* che riafferma la necessità di conoscere la documentazione storica. Il romanzo *Goluboj čelovek* (*L’uomo azzurro*, 1964) di Lazar’ Lagin ne è esempio paradigmatico, incarnando la fiducia nella storia come processo progressivo e necessario. Questo modello si inserisce nel contesto della letteratura fantastica sovietica, che spesso integra passato e futuri ipotetici, e mostra evidenti affinità con altri esempi di narrativa ‘alternativa’ globale (es. *The Man in the High Castle* di Philip K. Dick, 11/22/63 di Stephen King), pur rimanendo radicato nelle specificità ideologiche e sociopolitiche della Russia del XX secolo, dove la storia viene ‘corretta’ anche per rispondere a traumi storici interni e promuovere una visione del futuro che possa superare le difficoltà del presente (sovietico e post-sovietico).

In molte opere degli anni ‘60 e primi anni ‘70 (Gansovskij, Varšavskij, Gor), il viaggio nel passato si conclude con l’impossibilità di modificare il corso degli eventi. Secondo l’A., questo cambio di paradigma si manifesta inizialmente nella letteratura per ragazzi (soprattutto Bulyčëv), dove torna centrale la possibilità di intervenire attivamente sul corso degli eventi. Tra la metà degli anni ‘70 e l’inizio degli ‘80, parallelamente alla Stagnazione e alla *Perestrojka*, essa riemerge nella narrativa di massa ‘per adulti’, segnando un momento di svolta per il ‘viaggio temporale correttivo’: il genere si trasforma in uno strumento ideologico e immaginativo, tra critica del passato e utopia del futuro. In questa nuova fase, si assiste a una rinnovata valorizzazione dell’intervento individuale sul passato, con il ritorno dell’invariante strutturale della crono-correzione.

Il volume, caratterizzato da un ricco apparato teorico e una minuziosa analisi del *popadančestvo* come fenomeno letterario complesso e radicato nella storia culturale russa, si distingue anche per la

ricchezza delle distinzioni tassonomiche proposte, a tratti abbondanti ma funzionali a evidenziare la complessità del quadro testuale del genere del 'viaggio temporale correttivo'. L'opera offre nuovi spunti di riflessione sulle intersezioni tra letteratura, storia e identità collettiva, invitando a ripensare il ruolo di questo filone narrativo nel contesto culturale russo e aprendo nuove direzioni di indagine sulla funzione ideologica della narrativa di massa nella costruzione dell'immaginario storico russo.

Alessandro Cifariello

Sabrina Gallo

R. Nicolosi, *Putins Kriegsrhetorik*, Konstanz University Press, Konstanz 2025 (= Essay), pp. 195.

In anni recenti, copiosi sono stati gli studi internazionali sulla proiezione che la Russia putiniana dà o vuole dare di sé: dalle analisi di Maxime Audinet sulla retorica proiettata verso il pubblico globale (2021) alle letture di Eliot Borenstein sulle narrazioni complottiste come logica discorsiva (2019), o ancora – in un’ottica più generale – le ricerche di Maria Engström e Helena Goscilo sull’estetica del potere e sulla cultura visiva nella Russia post-sovietica (2011). Contemporaneamente, in campo russistico si è assistito a un notevole sviluppo degli studi dedicati alle tradizioni nazionali del linguaggio politico, di epoca imperiale e epoca sovietica, sia nell’ottica specifica della legittimazione del potere (vedi ad es. il classico di Michail Vajskopf, *Pisatel’ Stalin*, NLO, Moskva 2002), sia in relazione al complessivo evolversi della serie culturale (Evgenij Dobrenko e a.); anche l’approccio metodologico di tale campo di studi è andato sempre più diversificandosi, fino a lambire in tempi recenti territori precedentemente estranei alla russistica, come la “storia intellettuale” della scuola di Cambridge (Michail Veližev, Timur Atnašev), la *Kulturkritik* di Theodor W. Adorno e le operazioni demistificatorie esercitate da Walter Benjamin sull’ideologia imperiale (Kirill Ospovat).

La monografia di Riccardo Nicolosi, pur nella sua vocazione all’attualità immediata, si colloca dunque in continuità con un indirizzo di ricerca assai articolato e di lungo periodo. Di tale indirizzo, essa amplia inoltre l’arsenale metodologico, facendo riferimento in modo esplicito alla *Nouvelle Rhétorique* (Chaïm Perelman, Lucie Olbrechts-Tyteca, Kenneth Burke) e alla concezione della retorica come “grammatica secondaria” e strumento di analisi del discorso politico, formulata da Renate Lachmann: pertanto, nel presente saggio il termine “retorica” si riferisce tanto alla concreta pratica oratoria politica di Vladimir Putin e alla sua fattura argomentativa, quanto a una generale teoria modellizzante della comunicazione persuasiva, con l’aiuto della quale gli interventi del presidente russo possono venire analizzati.

Nei primi due capitoli, Nicolosi analizza la comunicazione politica putiniana come fenomeno complessivo, fortemente divergente dalla “nuova indeterminatezza comunicativa” (*Unübersichtlichkeit*) della sfera pubblica nelle democrazie moderne, che si articola simultaneamente in spazi diversi – ad esempio, nel parlamento e nei social media – e viene continuamente interrotta e rimodulata (vedi Astrid Séville, Julian Müller, *Politische Redeweisen*, Mohr Siebeck, Tübingen 2024). Alla base della comunicazione politica di Putin c’è invece un modello classico di oratoria, impermeabile a modalità espressive provenienti da altri ambiti sociali: tanto monologica e centripeta quanto stilisticamente variabile, basata su un *ethos* multiplo e su strategie argomentative che fanno largo uso di quella che Aristotele chiamava *éndoxa* (premesse condivise nell’ambito di una determinata comuni-

tà), la retorica putiniana fa del suo depositario “il signore della parola e della realtà che tramite la sua parola si è andata costruendo” (p. 34).

Nei capitoli centrali del saggio, Nicolosi analizza le strategie retoriche finalizzate da Putin a legittimare la guerra contro l’Ucraina: una tecnica di comunicazione definita dallo storico Timothy Snyder come “*implausible deniability*”, tesa a vanificare la verificabilità dei fatti, facendo sì che tutto possa essere vero e falso allo stesso tempo. A differenza dalla più tradizionale “*plausible deniability*”, tipica della retorica diplomatica occidentale, la strategia qui descritta non mira a costruire una narrazione credibile, ma a saturare lo spazio informativo con versioni multiple, contraddittorie e spesso assurde degli eventi, così da scoraggiare ogni verifica e dissolvere il concetto stesso di realtà oggettiva: ne è un esempio significativo la topica della “dichiarazione di guerra” putiniana, i suoi punti di enfasi emotiva e i suoi nessi argomentativi razionali, definiti da Nicolosi nei termini di un’appropriazione parodistica – o “imitazione carnevalesca” – delle strategie legittimanti utilizzate dall’Occidente per le campagne militari dell’ultimo quarto di secolo. Si configura una pseudo-coerenza, costruita su un dualismo manicheo tra Russia e Occidente e su una logica monocausale che riconduce un’infinita pluralità di fenomeni al denominatore comune del tentativo occidentale di “contenere” il ruolo geopolitico della Russia: la “russofobia” come “narrazione vittimistica” (*Opfernarrativ*) non falsificabile e dunque facile da utilizzare in funzione di modello interpretativo per fenomeni disparati, che allo stesso tempo “modella la Russia post-sovietica come uno spazio emotivo dominato da un profondo senso di risentimento (*Kränkung*) derivante da esperienze traumatiche” e fonda l’attuale discorso politico russo su illusorie proiezioni di una “perdita” e sulla paura ossessiva che essa possa tornare a verificarsi (*Verlustphantasmen und Verlustängsten*) (pp. 67, 74, 79, 88, 92).

Presentato come aspetto intrinseco e continuo della vita politica e sociale della Federazione Russa, nella retorica putiniana il conflitto non solo definisce il presente, ma è anche proiettato nel futuro, “come strumento per forgiare una nuova élite, una nuova classe dirigente che possa incarnare i valori e gli obiettivi del regime” (p. 25). Né le implicazioni di ciò riguardano soltanto la politica interna: come Nicolosi illustra nel sesto capitolo, Putin immagina la Federazione Russa come motore di un movimento anticoloniale, forza decisiva che può guidare il “Sud globale” in una lotta contro l’“egemonia” americana da cui dovrebbe sorgere un ordine mondiale multipolare. In tale ottica, il presidente russo si mostra capace di adattare la propria retorica a un pubblico internazionale eterogeneo, unito da un diffuso risentimento antioccidentale e da velleità particolaristiche, pur declinate in termini che spesso si collocano in vicendevole opposizione.

La retorica putiniana si mostra capace di operare con categorie che spaziano dalla storia patria alle polemiche correnti, e da queste alla futurologia più visionaria. Essa riesce inoltre a rovesciare traumi identitari domestici in aspirazioni universalistiche, adattandosi con notevole versatilità anche a eventi imprevisi e situazioni di crisi, come la mobilitazione parziale di soldati nel settembre 2022, che ha suscitato malcontento, e la rivolta di Evgenij Prigožin (giugno 2023), che ha minacciato di indebolire l’autorità del governo. Il settimo e ultimo capitolo è pertanto dedicato alle strategie retoriche utilizzate dal presidente russo per comporre il conflitto permanente e le crisi più circoscritte in una sintesi necessariamente instabile e continuamente ridefinita. Nicolosi legge tale opera di ininterrotta ricomposizione attraverso le teorie di Carl Schmitt sulla *sovranità* non come un “monopolio della coercizione o del dominio, ma come un monopolio della decisione”, che “si manifesta soprattutto nelle situazioni di emergenza” (in *Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität*, 5. Auflage, Berlin 1990, pp. 22, 44). L’esercizio putiniano della sovranità, insomma, si fonda sulla capacità di sussumere i termini particolari di qualsiasi crisi improvvisa nel quadro generale di un conflitto identitario con implicazioni potenzialmente universali.

Colpisce come Nicolosi, pur sviluppando il proprio modello di retorica putiniana di guerra in un contesto assai ricco di rimandi ideologici e culturali, eviti di riallacciarsi esplicitamente alla tradizione di studi sul linguaggio politico russo a cui accennavamo in apertura: nonostante l'abuso che la retorica putiniana fa di singoli tratti identitari riconducibili tanto al nazionalismo della Russia imperiale quanto agli ideologemi del periodo staliniano e tardosovietico, essa pare così collocarsi in una sfera tipologicamente estranea a quelle esperienze. A differenza, ad esempio, della mistica staliniana del potere, il putinismo teme infatti "la mobilitazione di massa tanto quanto la rivolta di palazzo (e forse anche più di questa)" (p. 33): dato che la ragion d'essere di tale regime è la stabilità dei gruppi dirigenti e la conservazione dello *status quo* nel sistema di sfruttamento delle risorse economiche, l'ideologia sulla quale esso si fonda in nessun caso mira a stimolare il coinvolgimento e l'attivismo delle masse, e in ciò si differenzia nettamente dai regimi politici autoritari novecenteschi (vedi Boris Dubin, *Rossija nulevych: političeskaja kul'tura – istoričeskaja pamjat' – povsednevnaja žizn'*, ROSSPÈN, Moskva 2011). L'ideologia dominante vuole al contrario limitare ogni forma di coinvolgimento, garantendo una depoliticizzazione totale della società: solo processi collettivi di segno opposto – volti a stimolare un nuovo protagonismo della società civile – potranno dunque vanificare le strategie per mezzo delle quali il putinismo si garantisce un sostanziale consenso passivo, e condurre a un'eclissi definitiva del regime.

Guido Carpi

I.B. Levontina, *Časticy reči*, Azbukovnik, Moskva 2022, pp. 431.

La monografia di I. Levontina – linguista, semanticista e lessicografa russa – rappresenta l'esito maturo di un lungo e articolato percorso di ricerca, i cui risultati sono stati progressivamente pubblicati in numerosi articoli, apparsi sia su riviste scientifiche e miscellanee, sia come contributi al *Novyj ob"jasnitel'nyj slovar' sinonimov russkogo jazyka*, curato da Ju.D. Apresjan. L'opera si colloca inoltre all'interno di un consolidato e prolifico filone di studi che ha profondamente influenzato la linguistica russa a partire dagli anni Sessanta, periodo cui si fa tradizionalmente risalire l'avvio di questo indirizzo con la monografia di N.Ju. Švedova, *Očerki po sintaksisu russkoj razgovornoj reči*, tuttora considerata un riferimento irrinunciabile e ricco di spunti per la ricerca contemporanea sulla lingua parlata.

Situate all'intersezione tra semantica, sintassi, pragmatica ed espressione delle diverse funzioni linguistiche, le particelle – e più in generale le *melkie slova*, secondo la nota definizione di Ščerba – si prestano a un'analisi condotta attraverso molteplici approcci teorici. Nonostante la vastissima letteratura esistente sull'argomento – non solo per quanto riguarda la lingua russa, insieme al tedesco, la lingua indoeuropea moderna con il più ampio inventario di particelle – restano tuttora irrisolte questioni definitorie sostanziali, come i confini tra particelle e connettivi o tra particelle e interiezioni.

Nella parte introduttiva, Levontina riprende i paradossi già individuati da T.M. Nikolaeva nella sua fondamentale monografia del 1985 *Funkcii častic v vyskazyvanii (na materiale sovremennyh slavjanskich jazykov)*. Il primo, e principale, riguarda il ruolo centrale del contesto – e la dipendenza da esso – nella comprensione del significato delle particelle, il che ostacola qualsiasi tentativo di una descrizione semantica (e pragmatica) definitiva. Il secondo paradosso, strettamente connesso al primo, risiede nella tensione tra l'importanza cruciale che le particelle rivestono per il successo comunicativo dell'enunciato e la natura sfumata e 'mobile' del loro significato, che contribuisce al loro carattere linguospecifico e, talvolta, alla loro intraducibilità.

Al centro della riflessione – e vero fondamento della struttura stessa del volume – vi sono dunque la polisemia e la sinonimia delle particelle. Proprio a causa del loro legame con il contesto e della loro variabilità semantica, entrambe rappresentano una delle sfide più complesse in ambito semantico e lessicografico. La ricerca di Levontina mira a riflettere, da un lato, la natura multiforme ed estremamente flessibile di queste unità linguistiche e, dall'altro, la molteplicità delle funzioni che esse possono assolvere. A tal fine, l'autrice adotta un approccio volutamente aperto e articolato, che le consente – ad esempio – di trattare la stessa, dal punto di vista della forma, particella in capitoli distinti, a seconda della funzione che essa assume nei diversi contesti d'uso.

Il volume si compone di dieci capitoli, preceduti da un'ampia introduzione che ricostruisce lo sviluppo degli studi sul tema ed evidenzia le principali questioni ancora aperte. Riflettendo la complessità dell'oggetto di indagine, l'autrice propone una descrizione articolata e una classificazione solo parziale, fondata su criteri eterogenei, così come eterogenee sono le funzioni svolte da queste categorie del discorso. Il materiale d'analisi è tratto principalmente dal Corpus nazionale della lingua russa, cui si affiancano, seppure in misura minore, dati provenienti dai corpora paralleli, parte integrante del Corpus nazionale. Proprio l'ampiezza dei contesti offerti da questi ultimi ha consentito di individuare corrispondenze ricorrenti – o, in alcuni casi, assenti – tra tipologie contestuali e scelte traduttive, contribuendo così a far emergere sfumature di significato spesso difficili da cogliere in una sola lingua.

I primi due capitoli, tra i più consistenti del volume, analizzano le particelle che contribuiscono alla realizzazione delle modalità esortativa e interrogativa. Nel primo caso, l'autrice prende in esame, tra le altre, particelle come *nu*, *da* e *že*; nel secondo, l'attenzione si concentra su particelle e marcatori che accompagnano l'atto linguistico della domanda, mettendone in luce le diverse funzioni illocutive. Particolare rilievo è attribuito all'aspetto interlinguistico, grazie a un'analisi dettagliata del tedesco *etwa* e dei suoi differenti equivalenti in russo (*čto*, *čto že*, *čto li*, *razve*, *neuželi*, *neužto*, *už ne*).

Anche il terzo capitolo è dedicato al ruolo delle particelle nel dialogo, con un focus sulle particelle dal valore indirettamente deittico, che segnalano – tanto per il parlante quanto per l'interlocutore – elementi già noti o evocati nell'universo del discorso.

Tre capitoli – il quarto, il settimo e l'ottavo – affrontano, da prospettive differenti, la funzione testuale delle particelle. Il quarto capitolo si sofferma su un tema centrale nella letteratura scientifica: i marcatori evidenziali, in particolare quelli a funzione metatestuale, i quali non si limitano a introdurre il discorso altrui, ma riflettono anche il punto di vista del parlante rispetto a quanto riportato, avvicinandosi così alla sfera della modalità. Levontina adotta la terminologia russa *ksenopokazateli*, introdotta da Arutjunova, ritenendola più adeguata rispetto alla più generica definizione di marcatori evidenziali. Vengono analizzati i classici *mol*, *deskat'*, *de*, insieme a connettori modali come *jakoby* e *budto by*, interiezioni (*ach*) e altri indicatori del discorso riportato, più o meno marcati, fino al diffusissimo *tipa*. Il capitolo include inoltre costruzioni idiomatiche (*vidite li*, *rasskaži da rasskaži*) e unità lessicali – spesso riduplicate – che sostituiscono, con modalità diverse, l'enunciazione altrui (*tyry-pyry*, *lja-lja-lja*).

I due capitoli successivi, anch'essi incentrati sulla funzione testuale, analizzano l'uso discorsivo di particelle deittiche come *vot*, *eto*, *tam* e *tut*. Particolarmente interessante, a parere di chi scrive, è lo studio di *eto* in posizione di quasi clitico, in contesti quali: *idu eto ja tret'ego čisla...*, *sižu eto v kabake...*, *sidit eto on kak-to letom odin*. Pur collocandosi prevalentemente dopo il verbo, *eto* può anche seguire un pronome (*Ja eto sižu včera pod oknom...*) o, più raramente, occupare la terza posizione (*Stoju ja eto...*). I contesti evidenziano una co-occorrenza sistematica con il presente depictivo, o narrativo, a conferma della funzione narrativa ed espositiva della particella. Di ulteriore interesse per il lettore italiano è il paragrafo dedicato a *magari*, la cui gamma funzionale spazia da valori epistemici e ottativi fino ai più rari usi concessivi.

Nel capitolo otto si prendono in esame particelle che, sempre a livello testuale, svolgono la funzione di connettori. Si parte dal meno frequente *an*, per arrivare a espressioni avverbiali di tipo additivo come *vdobavok* e *meždu pročim*. L'autrice include in questa sezione anche costruzioni come *malo togo*, *malo skazat'* e *boleee togo*.

I capitoli cinque e sei sono invece dedicati alle particelle che veicolano l'atteggiamento del parlante nei confronti di quanto viene enunciato, aspetto già affrontato nei capitoli precedenti, ma qui tematizzato in modo più specifico: in riferimento, rispettivamente, alle aspettative (cap. 5) e alla valutazione (cap. 6).

Gli ultimi due capitoli si concentrano su aspetti morfologici e interlinguistici. Il nono propone un'analisi contrastiva del *net* russo, mettendone in luce la pluralità di significati. Il decimo e ultimo capitolo esamina invece le cosiddette particelle-morfema (*-to*, *-libo*, *-koe*) insieme a forme non morfemiche ma funzionalmente equivalenti, come *ugodno* (*čto ugodno*) e altre.

Il volume si presenta come una miniera ricchissima da esplorare, offrendo al lettore un'ampia quantità di esempi, contesti d'uso, descrizioni raffinate e spiegazioni condotte con rigore e chiarezza, il tutto supportato da un solido apparato bibliografico, che attinge a fonti in numerose lingue. Come accennato all'inizio, l'oggetto della ricerca sfugge per sua natura a griglie interpretative rigide, e non sembra rientrare tra gli intenti dell'autrice quello di fornirne una sistematizzazione definitiva. Il volume si configura piuttosto come un contributo prezioso, destinato a linguisti, studenti e traduttori, per i quali può diventare uno strumento di consultazione imprescindibile, capace di chiarire dubbi interpretativi e guidare l'analisi di una delle aree più sfuggenti e affascinanti della lingua russa.

Paola Cotta Ramusino

I. Meščuk, *General Phraseology. Theory and Practice*, John Benjamins, Amsterdam 2023 (= *Lingvisticae Investigationes Supplementa*, 36), pp. XIV-280.

General Phraseology. Theory and Practice is the last book written by the world-renowned linguist Igor Meščuk, published in 2023. As the author states in the Introduction, the publication aims to improve upon his previous studies on phraseology, and the English terminology introduced in this book is supposed to replace the versions he previously disseminated (e.g., 1964, 1995, 2012, 2015). He developed widely appreciated linguistic theories, first and foremost the Meaning-Text theory (first introduced in 1974), on which this book is founded. He also proposed different Explanatory Combinatorial Dictionaries (e.g., 2006, 2012-2015) that aim at explaining semantic and lexical combinations among words, thoroughly contributing to the research in the lexicographical field as well.

The book under review is written in English and divided into eleven chapters, followed by an appendix presenting a list of Lexical Functions (used in the discussion in the chapters) and a section dedicated to the References, as well as four Indexes (*Definition, Notion and Terms, Linguistic Items, Language*).

The volume aims at providing a universal conceptual apparatus for the description of phrasemes, composed of 51 terms. Each of them is defined within the framework of the Meaning-Text theory, with a further reliance on dependency syntax. Definitions are presented in an algebraic form, while, given that the author's mother tongue is Russian, most of the examples provided in the book are in this language and in English. This notwithstanding, examples in other languages (e.g., Italian, Korean) are provided too.

In the first chapter, the notions of phraseology and phraseme are presented. The ambiguity of the term 'phraseology' is elucidated, since it can indicate both the set of phrasemes in a single language and the linguistic discipline studying the phraseology of all the different languages (in this case, it is called general phraseology).

The second chapter considers two of the basic characteristics of a phraseme: constrained selection (the non-free selection of its lexemic components) and possible compositionality (the signified of the multiword expression composed by the union of the signifieds of the words forming it). The chapter ends with a proposition of a universal classification of phrasemes into lexemic, morphemic, and syntactic.

Chapters 3 to 9 are dedicated to lexemic phrasemes, the best-known family of the three, with a synchronic approach.

In particular, chapter 3 is dedicated to the notion of lexemic phrasemes (formed by lexemic components), which can be syntactically discontinuous and are divided into two major typologies:

semantic-lexemic and conceptual-lexemic. The first are characterized by a free transition from a conceptual representation of a real situation to the corresponding semantic representations of near-synonymous expressions, but a constrained selection of the semantic representation (as in idioms and collocations). The second typology is defined by a bound selection of the semantic representations for a particular conceptual representation of a real-world situation (as in nominemes and clichés). The author then considers degenerate lexemes, defined as lexemes used only in phrasemes, which do not possess the same properties as normal lexemes (p. 45).

Chapters 4 and 5 focus on idioms, semantic-lexemic phrasemes that are semantically non-compositional (often, not only in the signified but also in the signifier and syntactics). They can be more or less transparent in their signified as well as syntactically discontinuous, while having only a deep part of speech (at the deep syntactic level, they can be considered as nouns, verbs, adjectives, adverbs or clausatives). They can contain degenerate lexemic components, such as quasi-lexemes which do not appear outside of the phraseme in question and do not have a defining meaning or a set of inflectional forms (p. 51).

Idioms can have synonyms, copolysemes and homonyms, as well as lexical functions, and they are divided into three major subclasses: strong (which include neither of the signifieds of the components), semi- (which include the signified of one of its components and an additional semantic component) and weak (which include the signifieds of all the components and an additional semantic component). In the last part of the chapter, three problems concerning idioms are considered (their 'artistic' deformation in speech, their regular grammatical transformations and their dissolution), followed by the lexicographic description of some exemplifying expressions (each idiom has its own lexical entry).

Chapter 5 is dedicated to a practical analysis of three Russian idioms: *Užas kakoj* 'extremely', *Čto za* 'what kind of', and *Anjutini glazki* 'pansies'.

Chapter 6 focuses on collocations, semantic-lexemic phrasemes characterized by compositionality (by definition, in the author's view) and the potential to include multi-word components, which are often 'degenerate' lexemes. Collocations can be syntactically discontinuous, and they are divided into two major classes: semantically motivated ones (with a base and a collocate, the latter used to express some meaning), and syntactically motivated ones (the collocate is used together with the base to satisfy a syntactic rule). Moreover, the distinction between actantial (in which the collocate expresses a semantic actant of the base) and non-actantial (in which the collocate is not a semantic actant of the base) collocations is provided. Examples of lexicographic descriptions of collocations are then offered, provided that, unlike idioms, in Mel'čuk's opinion, they do not have their own lexical entry (they are best presented in *Explanatory Combinatorial Dictionaries*, p. 129).

Chapter 7 investigates nominemes, non-compositional conceptual-lexemic phrasemes that can be informally described as multilexemic proper names. It is important to underline that, like idioms, nominemes can contain quasi-lexemes (e.g., Russian geographical name *Švivaja gorka*, 'Švivij Little Hill', with the word *Švivij* being inexistent in Russian outside of this nomineme, p. 140).

Chapter 8 focuses on clichés, compositional conceptual-lexemic phrasemes, which are divided into proper nicknames (or descriptive complex proper names), which have a specific concrete referent (e.g., *Eternal City*, to indicate the city of Rome); termemes, which denote a concrete class of individuals (e.g., *Alzheimer's Disease*); formulemes, which have a specific abstract referent and denote a particular situation (an example is the expression *Happy Birthday*); sentencemes, which refer to generic abstract referents, denoting a class of situations (such statements are generally known as 'sayings', 'proverbs' and so on).

The lexicographic description of clichés is then provided: while proper nicknames do not belong to the language dictionary, since they denote a particular concrete referent (they are better described in encyclopaedias), termemes are described under the entry of their lexical anchors, like *formulemes* and *sentencemes* (reported as wholes).

Chapter 9 focuses on *pragmatemes*, pragmatically constrained expressions used in special situations of linguistic communication, such as written prescriptions coming from official authorities. Mel'čuk signals his new conception of *pragmatemes* (different from the one proposed in his 2015 work) that considers each of them *signalative* (i.e., representing an internal psychological state of the Speaker) and *clausative* (i.e., constituting an independent clause). *Pragmatemes* can be divided into four *pragmemic* types: *lexemes*, *idioms*, *collocations* and *clichés* (*formulemes* being the biggest class). They are lexicographically described as *lexemes* or *phrasemes*, with precise indications concerning their pragmatic and prosodic (if present) constraints.

Chapter 10 is dedicated to *morphemic phrasemes*, consisting of *morphemes* belonging to the same wordform (e.g., JACK+POT, to WEAK+en). Like *lexemic phrasemes*, they can be divided in *semantic-morphemic* (*idioms*, if non-compositional and *collocations*, if compositional) and *conceptual-morphemic phrasemes* (*nominemes*, if non-compositional and *clichés*, if compositional). *Morphemic idioms* (non-regular in the combination of the signified of their components) are then taken into consideration and distinguished from *suppletive units* (non-regular in the combination of the signifier of their components). *Morphemic collocations*, *nominemes* and *clichés* are described equally to their lexical counterparts, the only difference being their analysis both from a diachronic and a synchronic perspective. Indeed, many of the *lexemes* of a language are diachronic *morphemic phrasemes*, which would be not directly relevant for a synchronic analysis.

Chapter 11 considers *syntactic phrasemes*, which present a non-segmental signifier (as opposed to *lexemic* and *morphemic phrasemes*) composed, for instance, by a particular prosodic structure or a syntactic operation. Generally, the meaning of *syntactic phrasemes* is identified by a fictitious *lexeme* (i.e., a conventional name ascribed to a linguistic sign with a similar signified, but a non-segmental signifier, p. 195). *Syntactic idioms* are then considered, with the addition of an illustrative list of Russian expressions and the lexicographic description of four of the latter. In conclusion, the book definitely constitutes a solid theoretical basis for a logical study and categorization of *phrasemes*. It provides a universal conceptual apparatus useful to this purpose, adding to it several practical applications. The inclusion of mathematical formulations to visually describe the definitions might, for some readers, pose an obstacle to their comprehension. This notwithstanding, the volume still represents an outstanding example of Mel'čuk's work in the phraseological field and will certainly become one of the bases for a thorough methodological study of *phrasemes*.

Giulia Colombo

А. ФЕДОТОВ, П. УСПЕНСКИЙ

Изнанка народной войны по версии Николая Некрасова: стихотворение Так, служба! сам ты в той войне... в дискурсах о 1812 годе

5-28

А. ВДОВИН

Реализм аффектов: Телесность, физиологизм и душевное расстройство в Степном короле Лире И.С. Тургенева

29-43

И. ВИНИЦКИЙ

Ослиная песня. Канцонетка Альдо Палаццески Дайте мне порезвиться (1910) в истории и мифологии российского (анти-)футуризма

45-64

M. DIMITROVA

Nonstandard wh-Questions. Focusing on Bulgarian wh-li Questions

65-85

F. BIAGINI, L. GEBERT

Gli equivalenti russi delle perifrasi verbali a valore aspettuale in italiano

87-104

V. TRUBNIKOVA

Leave-Taking Formulas in Contemporary Russian Language

105-124

Materiali e discussioni (R. Casari, E. Garetto)

127-136

Recensioni

139-159